

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
Социологический институт РАН

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ

Выпуск 10



PEHOME

Санкт-Петербург
2018

УДК 316.014
ББК 60.504/506

*Утверждено к печати
Ученым советом Социологического института РАН — филиала
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук*

Редколлегия:

И. И. Елисеева, чл.-корр. РАН, д. э. н., проф., засл. деятель науки РФ (гл. ред., СИ РАН);
О. Н. Бурмыкина, к. с. н. (СИ РАН); *А. С. Быстрова*, к. э. н. (СИ РАН);
К. С. Дивисенко, к. с. н. (отв. секретарь, СИ РАН); *Г. В. Еремичева*, к. ф. н. (СИ РАН);
Д. Б. Тев, к. с. н. (СИ РАН); *И. Шубрт (Jiří Šubrt)*, д-р социол., доцент (Карлов университет, Прага, Чехия); *Симо Маннила (Simo Mannila)*, PhD (Национальный институт здоровья и благосостояния, Хельсинки, Финляндия)

Десятый выпуск издания «Петербургская социология сегодня» включает статьи по острым проблемам современности. Прежде всего, это статьи, посвященные транснациональной миграции и формированию сетевых сообществ, включающих живущих в принимающей стране и в стране-доноре. Внимание отечественных социологов и экономистов привлечет обоснование необходимости повышения заработной платы в обрабатывающей промышленности России как условия роста производительности труда, повышения социальной ответственности работников, их включенности в достижение целей стратегического развития. Рассматриваются проблемы экологического активизма. Представлены разнообразные аспекты формирования семьи и ее влияния на демографическое и социальное воспроизводство.

Обсуждение разночтений исторических событий Октября 1917 года позволяет еще раз почувствовать социальные разломы современного российского общества. Исторический дискурс в данном сборнике соседствует с современным исследованием, приближающим создание искусственного интеллекта.

Для социологов, экономистов демографов, экологов и широкого круга читателей, интересующихся социальными проблемами современной России и мира.

Научное ежегодное периодическое издание «Петербургская социология сегодня» выходит с 2009 года. Издание включено в российский индекс цитирования (РИНЦ).

Учредители:

Социологический институт РАН — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук;

Общество с ограниченной ответственностью «Нестор-История».

УДК 316.014
ББК 60.504/506

ISSN 2308-3166

© СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, 2018
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

Барьеры рынка труда и транснациональная миграция

<i>Тукумцев Б. Г., Бочаров В. Ю.</i> Низкий уровень жизни, как социальное препятствие на пути модернизации промышленного производства	7
<i>Степанов А. М.</i> Транснациональные практики: к вопросу об определении понятия	38
<i>Трегубова Н. Д., Стариков В. С.</i> Сетевые траектории идеологической радикализации транснациональных мигрантов: анализ современных исследований и подходов	50
<i>Гегер С. А., Гегер А. Э.</i> Факторы экоктивизма	65

История и теория

<i>Карбаинов Н. И.</i> Образы революционных событий 1917–1920-х гг. в постсоветском Татарстане: версии элит и массовые представления	77
<i>Каныгин Г. В., Корецкая В. С.</i> Аналитическое кодирование	99

Проблемы российской семьи

<i>Лурье С. В.</i> Межэтнические браки в современном российском национальном сценарии	122
<i>Галиндабаева В. В.</i> Трансформация практики открытого усыновления в контексте сельско-городской миграции (случай постсоветской Бурятии)	149
<i>Одинокова В. А.</i> Влияние родителей и сверстников на частоту употребления алкоголя подростками	169
<i>Цветаева Н. Н.</i> От традиции к индивидуализации: автобиографические нарративы об изменениях в семейных и гендерных отношениях	186
<i>Елисеева И. И.</i> Рождения и нерождения	204
Summaries	217
Сведения об авторах	222

CONTENTS

Introduction	5
--------------------	---

Barriers of the Labour Market and Transnational Migration

<i>Tukumtsev B. G., Bocharov V. Y.</i> Low Standard Of Living as a Social Obstacle on the Way of Industrial Modernization	7
<i>Stepanov A. M.</i> Transnational Practices: On the Issue of Defining the Concept	38
<i>Tregubova N. D., Starikov V. S.</i> Analysis of Transnational Migrants' Network Paths to Ideological Radicalization: An Overview of Current Research	50
<i>Geger A. E., Geger S. A.</i> Factors of Ecoactivism	65

History and Theory

<i>Karbainov N. I.</i> Images of Revolutionary Events of 1917–1920 in Post-Soviet Tatarstan: Elitist Discourse and Mass Representations	77
<i>Kanygin G. V., Koretskaya V. S.</i> Analytical Coding	99

Problems of Russian Family

<i>Lourie S. V.</i> Interethnic Marriages in the Contemporary Russian National Script	122
<i>Galindabaeva V. V.</i> Transformation of the Open Adoption Practice in the Context of Rural-Urban Migration (Case of Post-Soviet Buryatiya)	149
<i>Odinokova V. A.</i> Impact of Parents and Peers on the Frequency of Alcohol Consumption among Adolescents	169
<i>Tsvetaeva N. N.</i> From Tradition to Individualization: Autobiographical Narratives about Changes in Family and Gender Relations	186
<i>Eliseeva I. I.</i> Birth and Not Birth	204
Summaries	217
About the authors	222

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот выпуск издания «Петербургская социология сегодня» является десятым, т. е. юбилейным. Примечательно и то, что Социологический институт РАН впервые издает два выпуска в год, что соответствует регистрационным параметрам этого издания.

Как обычно, тематика статей весьма разнообразна. Тем не менее, несмотря на пестроту сюжетов удалось распределить статьи по трем разделам.

Тематика первого раздела включает работы по ключевым проблемам современного общества. Каждая из них затрагивает болевую точку, в которой концентрируется потенциально взрывоопасная социальная напряженность. Для российских реалий весьма значима статья Б. Г. Тукумцева и В. Ю. Бочарова. Авторы рассматривают заработную плату как одно из условий социального партнерства, подчеркивая, что складывающийся на предприятиях обрабатывающей промышленности уровень заработной платы «...недостаточен для обеспечения достойной жизни работающих, неприемлем для современного индустриального производства. Он не создает условий для стабильной работы участников производства, не способствует у них заинтересованности в успехе предприятия...». Две последующие статьи посвящены рассмотрению миграция с позиций транснационального подхода. Обе статьи имеют большое значение для российских социологов, для понимания роли тех сетевых отношений, которые характерны для внешних мигрантов, а без постоянного притока мигрантов Россия обречена на довольно длительное сокращение численности населения, на сохранение огромных неиспользуемых или выпавших из экономической жизни пространств. Завершает раздел статья, в которой обсуждается проблема экологического активизма и дается портрет волонтера, вносящего вклад в обеспечение устойчивого развития.

Второй раздел сборника включает всего две статьи: по оценке исторических событий (статья Н. И. Карбаинова) и новым методам когнитивного анализа (статья Г. В. Каныгина и В. С. Корецкой). Первая из статей этого раздела наводит на размышления об уязвимости исторической науки вследствие вмешательства современных взглядов на отдаленные события прошлого. Авторы второй статьи вводят нас в будущее — в технологии искусственного интеллекта.

Последний раздел сборника посвящен многообразным проблемам современной российской семьи: усыновлению детей, репродуктивному поведению, межнациональным отношениям и их проявлению в семейно-брачной сфере, а также изменениям общих жизненных установок представителей разных поколений. Затрагивается влияние девиантного поведения родителей на воспитание детей, а также особенности репродуктивного поведения в России.

Все представленные статьи вносят свое видение той или иной проблемы и предлагают подходы к ее исследованию.

БАРЬЕРЫ РЫНКА ТРУДА И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ

DOI: 10.25990/socinstras.pss-10.vr3x-2v63

Б. Г. ТУКУМЦЕВ, В. Ю. БОЧАРОВ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье обосновывается необходимость изменения государственной политики в области оплаты труда и трудовых отношений в обрабатывающем производстве России, включая машиностроение. Достойная оплата труда на этих предприятиях рассматривается как изначальное социальное условие для успешного осуществления процесса модернизации производства и как важный шаг в нормализации трудовых отношений и формировании работника нового типа. Анализируется практика государственного контроля над оплатой труда. В статье используются данные социологических исследований, выполненных с участием авторов в одном из регионов Поволжья в режиме мониторинга в период с 1995 по 2014 годы, а также данные региональной статистики.

Ключевые слова: бедность, заработная плата, минимальный размер оплаты труда, включенность в деятельность предприятия, модернизация.

Предисловие

На протяжении длительного времени нам довелось исследовать состояние трудовых отношений на промышленных предприятиях одного из Поволжских регионов страны. Одна из особенностей этого исследования заключалась в том, что на всех его этапах наше внимание, в первую очередь, было направлено на оценку материального положения работающих там людей, а также на анализ государственной практики создания нормативов, определяющих минимальный уровень оплаты труда, и мер по преодолению состояния бедности работников обрабатывающего производства, (включающего и машиностроение).

Уровень оплаты труда работников мы рассматривали как важнейшую характеристику складывающихся на предприятиях трудовых отношений, как существенный исходный фактор, оказывающий влияние либо на отчуждения работника от предприятия, либо на формирование социального

партнерства. Складывающийся на предприятиях уровень заработной платы недостаточен для обеспечения достойной жизни работающих, неприемлем для современного индустриального производства. Он не создает условий для стабильной работы участников производства, не способствует появлению у них заинтересованности в успехе предприятия и, тем более, идентификации с его проблемами, целями и задачами.

Объектами нашего анализа в проводимых исследованиях были предприятия обрабатывающего производства и, в первую очередь, предприятия машиностроения. Уже первое знакомство с ними показало, что оплата труда на них существенно ниже, чем на предприятиях добывающей промышленности. Это изначально делало невозможным обеспечение достойного уровня жизни для большей части работающих. Уже тогда в своих рекомендациях мы обращали внимание руководителей предприятий на серьезные аргументы в пользу существенного улучшения материального положения тех, кто занят у них в производстве (Бочаров, Тукумцев 2015б: 44–49). В исследованиях мы постоянно сталкивались с последствиями негативного влияния низкого уровня жизни работающих на их отношения к своим обязанностям, к своему рабочему месту, к предприятию в целом. Фиксировали их нестабильность и безразличие к работе (Бочаров, Тукумцев 2015а: 10–63).

В этой статье, мы вновь возвращаемся к проблемам повышения уровня оплаты труда работников обрабатывающего производстве страны. Мы хотим обосновать необходимость такого шага сейчас, поскольку в настоящее время предприятия встают на путь модернизации.

В ходе написания этой статьи мы опирались на опыт многолетних социологических исследований, выполненных с нашим участием в одном из регионов Поволжья в режиме мониторинга. Исследования осуществлялись с 1995 по 2014 год. (Авдошина 2007: 144–156; Бочаров 2010; Тукумцев 2014: 415–423). Обращались мы и к трудам других исследователей и, в частности, к материалам исследований, выполненных НИИ социальных технологий Самарского университета: (научный руководитель — доцент, к. соц. н., Н. В. Авдошина). В анализе использовались данные государственной статистики региона, в котором проводились исследования.

Требования к работникам предприятий, осваивающих технологии новых поколений

Хорошо известно, что начиная со второй половине XX столетия создание IT-технологий, новых материалов, систем автоматизации и ро-

ботизации в мировом промышленном производстве начали следовать непрерывным потоком. Они опирались на новые научные разработки и открытия, многие из которых составляли научно-технические революции в соответствующих областях знаний. Все это повлекло за собой масштабные перемены в развитии и организации обрабатывающего производства. Наряду с этим произошло кардинальное изменение требований, которые предъявляются к человеку, занятому в этих обновленных производствах. Причем, новые требования касались не только повышения уровня знаний этого работника, его профессионализма. В новых условиях речь шла уже о таких не учитываемых ранее качествах работника, как его добросовестность, чувство ответственности, заинтересованность в успехе предприятия, фирменный патриотизм, инновативное поведение и других морально-нравственных качествах.

Новые, не выдвигаемые ранее требования к участникам производства были обусловлены спецификой начинающейся технологической эры, следующего этапа научно-технического прогресса. Можно, конечно, для себя отметить, что эта особенность нового этапа является, одновременно, и его «ахиллесовой пятой». Как говорится, в этом мире, к сожалению, нет ничего идеального. Обеспечивая немало позитивных результатов за счет существенного роста производительности труда и высокого качества, новые технологии оказались беззащитны перед действиями человека, который их обслуживает. Они сократили, причем в значительной степени, возможность внешнего, неразрушающего контроля над деятельностью этого человека-наблюдателя в процессе работы. Оплошность в его работе (нарушение заданного алгоритма или откровенная небрежность) могут быть в новых условиях обнаружены лишь на заключительной фазе производства — там, где осуществляется контроль над состоянием готового изделия. При этом не исключено, что дефект и там не будет обнаружен и даст о себе знать лишь уже на стадии потребления произведенной продукции. И в такой ситуации предприятие оказывается заложником добросовестности и ответственности каждого своего работника. Стала очевидной жесткая зависимость успеха работы предприятий, фирм от человеческих качеств, от добросовестности и личной заинтересованности каждого из исполнителей в общем успехе (Романов 2000; Мейсон 2016).

Впервые возникшая в странах с развитой экономикой проблема подобного рода, получила в годы минувшего столетия название «кризис человеческой активности». Производственные организации, использующие современные технологии и выпускающие продукцию с использованием новых поколений оборудования и технологий,

начали нести убытки от нештатных ситуаций Проданные заказчикам изделия, в которых остались те или иные дефекты, начали приносить существенные убытки. Эти проблемы коснулись даже космических, и других летательных аппаратов, потерпевших аварии из-за небрежности или нарушения алгоритма выполнения своих функций кем-то из работников в производстве.

Все это побудило руководителей компаний в странах с развитой экономикой (не без консультаций с учеными), еще в середине прошлого столетия, к созданию управленческих проектов по формированию у работников предприятий *вовлеченности* в свою работу на предприятии, развития у них интереса к организации всего производства. Они старались найти вариант содержания индустриальных (трудовых) отношений, который бы способствовал идентификации участников производства с целями и задачами предприятия, на котором они работают. И уже к 50-м годам прошлого столетия в европейских развитых странах и в Соединенных штатах Америки такой опыт был накоплен. Произошло коренное изменение содержания традиционных индустриальных (у нас — трудовых) отношений. Основным, определяющим актором этих отношений стало государство. Изменилось и содержание деятельности менеджмента по управлению персоналом.

Известные европейские исследователи Л. Болтански и Э. Кьяпелло, говоря о необходимости «большей вовлеченности человека в работу» и необходимости достижения «самоконтроля и ответственности работника», так пишут о преодолении этой новой, сложившейся на европейских предприятиях социальной ситуации: *«Поддержание или введение на рабочих местах новых более гибких, более полифункциональных форм организации труда, которые постепенно вытесняют устаревшие тейлоровские методы, способствовало в те годы достижению большей вовлеченности работников в рабочие ситуации и сокращению критической дистанции в отношении начальства»* (Болтански, Кьяпелло 2011: 484).

Становилось все более очевидным, что движение к пятому технологическому укладу производства (электронная промышленность, вычислительная техника и робототехника) и к шестому (нанотехнологии, клеточные технологии и т. п.) не может быть обеспечено только на основе обновления производственного потенциала предприятий. *«Не во вторую, а в первую очередь, — писал Н. И. Лапин, — необходимо было осуществить коренное преобразование в социально-трудовой сфере промышленности»* (Лапин 2014: 11–12).

И здесь необходимо обратить внимание на следующее. Требуемые изменения в сфере трудовых отношений, направленные на достижение идентификации работника с местом его работы, начались в экономически развитых странах с пересмотра величины компенсации за его труд, с установления достойной заработной платы работников промышленности. Это следует подчеркнуть. Инициаторами такого шага в большей части случаев стали органы государственной власти. Почти одновременно с ними с необходимостью этого шага согласились и собственники предприятий.

Они пришли к единому мнению, что не получающий достойной оплаты труда работник никогда не будет стабильным участником производства, удовлетворенным своим предприятием, готовым вести диалог с работодателем. Согласились с тем, что интерес работающих к деятельности предприятия, на котором он трудится, его идентификация с проблемами, целями и задачами этого предприятия, начинается с уверенности в том, что его место работы гарантирует ему материальную обеспеченность. Поэтому у него не появляется сомнений в том, что его работа позволит ему успешно решать свои бытовые, семейные, жилищные и культурные проблемы. Что здесь (на этом рабочем месте, на этом предприятии) он сможет не «метаться» в поисках подработок, а работать спокойно, обеспечивая себя и свою семью (Мейсон 2016: 28–30).

Разумеется, улучшение ситуации с оплатой труда само по себе не решает еще проблемы идентификации работника с предприятием. Но оно создаст *приверженность* человека к своей работе на предприятии, способствует его *стабильности* и *удовлетворенности* своей работой. А это является первым и необходимым шагом на пути к состоянию *включенности* в деятельность предприятия, на котором он работает.

Последующая *идентификация* такого работника с целями и задачами предприятия будут в дальнейшем зависеть от квалификации и работы менеджмента и руководства предприятия от тех методов управления, которые они будут использовать (Бочаров, Тукумцев, 2006: 124–125).

Мы считаем, что современные отечественные управленцы, наш менеджмент, допускают непростительную ошибку, игнорируя опыт решения проблем идентификации работающих с целями и задачами предприятия, на котором они трудятся, накопленный на зарубежных предприятиях. К концу XX столетия там была создана не только общая концепция формирования новых качеств работника, необходимых для

перехода к пятому и шестому укладу промышленных технологий. Были разработаны и социологические средства контроля над состоянием этих качеств.

В Европейских исследовательских организациях для оценки отношения работника к предприятию используются два показателя. Это, прежде всего, *«преданность работника предприятию»*, которая дает представление о степени стабильности человека (отсутствие желания сменить место работы и оценка им своего места работы). Второй показатель — *«идентификация работника с целями и задачами предприятия»*, на котором он работает. Показатель дает оценку заинтересованного, позитивного отношения работника к своему предприятию и готовности содействовать его успеху. Работнику, у которого этот показатель высок, близки и понятны цели и задачи предприятия, на котором он работает. И он готов, в случае необходимости, проявить личную инициативу в решении возникших проблем. (Ван Дик 2006: 26)

Исследования, предусматривающие оценку состояния приведенных выше показателей, осуществляются в Евросоюзе выборочно, но ежегодно, на предприятиях всех стран, которые входят в него. Причем, на правительства тех государств, входящих в «Евросоюз», в которых значения этих показателей — «преданности» и «идентификации», оказываются низкими, Еврокомиссия оказывает воздействие. Там справедливо считают, что низкий уровень оцениваемых показателей создает предпосылки для снижения качества продукции и наносит ущерб экономическому благополучию Евросоюза (Ван Дик 2006: 121–140).

Что касается результатов аналогичных исследований на отечественных предприятиях, то здесь похвастаться нечем. По данным наших исследований уровень обеих характеристик, о которых говорилось выше, выглядит весьма низким (Бочаров, Тукумцев, 2015 а: 10–63).

Показатель «прожиточный минимум (ПМ)» и его использование

Показатель «прожиточный минимум» используется в настоящее время во всех государствах мира для оценки материального положения граждан и размеров получаемой ими величины оплаты труда. Будучи представлен в натуральном и денежном выражении этот показатель включает в себя необходимые затраты на поддержание жизни одного человека в течение какого то определенного периода (месяца, года).

Как правило, он должен включать в себя затраты на питание, на обновление одежды, на аренду жилья, лечение, и другие расходы, связанные с соблюдением культурных и гигиенических норм принятых в стране. Величина «прожиточного минимума», представляет собой точку отсчета при оценке материального положения работника или членов его семьи. В тех случаях, когда их доход не превышает в денежном выражении величины «прожиточного минимума», их состояние рассматривается в большей части стран мира, как «состояние нищеты» (Гордон 1994: 32–35).

В основу показателя «прожиточный минимум», действующего в настоящее время в нашей стране, заложено содержание так называемых, потребительских корзин, включающих в себя, набор продуктов питания и набор непродовольственных товаров (одежды, услуг), которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности человека, для сохранения его здоровья и работоспособности в течение одного месяца. Эти наборы созданы отдельно для работоспособных людей, для пенсионеров и детей. Именно такое определение дано в федеральном законе № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», вступившем в силу 24 октября 1997 года и являющимся основным документом, регламентирующим определение величины прожиточного минимума (Прожиточный минимум 2006: 222).

История появления и использования в нашей стране такого значимого для управления экономической системой показателя, как «прожиточный минимум» (ПМ), достаточно необычна. Его создание и необходимые для этого исследования выполнялись в далекие от нас 1918–1919 гг. авторитетными научными и медицинскими организациями и учеными Петрограда. Там же он прошел тщательную экспертизу. Работы выполнялись по указанию первых руководителей Советского правительства. Такой показатель понадобился Правительству в те годы для определения и подсчета расходов на продовольственное и вещевое содержание трудовой армии и лагерей для заключенных, для чего он, собственно, в тот период и создавался.

Как уже говорилось, наборы получили название «продовольственная и вещевая корзины» и могли быть представлены как в натуральном, так и в стоимостном выражении, которое получило название «Бюджет прожиточного минимума» (БПМ). На основе этих двух «корзин» (продовольственной и вещевой) можно было, ориентируясь на рыночные цены, определить величину средств, достаточную для поддержания жизни и трудоспособности человека, правда, изолированного от

общества, в течение месяца. (Струмилин 1958: 1–40; Шибаев 2003: 41–47).

В дальнейшем, уже после окончания Великой отечественной войны, Госпланом СССР была предпринята попытка использовать этот показатель в качестве критерия при разработке систем оплаты труда. Однако с такой функцией в плановой экономике «ПМ» не справился и оказался «на полке». Что же касается мест заключения, то там к тому времени от него также отказались и перешли на более высокий уровень продовольственного обеспечения заключенных (Литвинов 2006: 51). Казалось, что жизнь этого показателя завершена.

Между тем, в начале 1990-х годов, когда уровень жизни населения России начал катастрофически падать, а размеры зарплат и цен на продукты под влиянием стихии рынка постоянно менялись, у руководства страны появилась потребность получать представление об этой динамике. И тогда в качестве критерия оценки уровня жизни, за неимением ничего другого, чиновниками были найдены и с одобрением Президента Б. Ельцина использованы подготовленные еще в 1918 году методики оценки «Бюджета прожиточного минимума» (Шибаев 2003: 47).

Методики были переданы в субъекты федерации, для подсчетов величины «БМП» с учетом местных цен. Результаты подсчетов начали ежеквартально рассматриваться и утверждаться на заседаниях региональных и общероссийского правительств, и публиковаться в печати. Но наряду с этим, по мнению ученых, в этот период появилась достаточно опасная тенденция корректировок содержания этих «корзин» — этого важнейшего, на тот момент, норматива потребления. В научной литературе это было названо «тенденцией ничем не обоснованного ведомственного произвола» (Иншаков, Фролов 2006: 60–66; Литвинов 2006: 46).

Как пишут исследователи уровня жизни, прежде чем передать методики для расчетов в регионы и в Госдуму, аппарат Правительства 1990-х годов внес туда исправления, о которых до сегодняшнего дня ученым академических институтов ничего не известно (Ярошенко 1991: 37). В 1998–2000 годах, величина ПМ, также без каких либо разъяснений и без участия представителей науки, неожиданно, увеличилась на 15–20% (Шибаев 2003: 46).

Необходимо отметить, что с момента возвращения разработок этого показателя, выполненных в 1919 году, из Госплана вокруг него не утихают научные и политические дискуссии, не утихает критика как

в адрес самого показателя, так и в адрес аппарата Правительства, работающего с ним. Директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН А. Ю. Шевяков в 2011 г. по этому поводу писал: «При коррекции потребительских «корзин» работа по определению набора для прожиточного минимума так или иначе была достаточно субъективна.. И осуществляется теперь, практически, без консультаций с наукой, общественностью и профсоюзами. И, самое главное, не соответствует современным реалиям. Так, например, в наборах вообще не предусмотрено никаких затрат на аренду и, тем более, покупку жилья. А нормы по хлебу и мясу в 1,5–3 раза меньше пайка немецкого военнопленного в Ленинграде в 1945 году. Если говорить о приближении уровня прожиточного минимума к современным реалиям, то в него надо включать затраты на жилье, на доступ к телекоммуникационным и информационным ресурсам, пересмотреть нормативы на одежду и пр. Даже грубая оценка всего этого показывает, что он должен быть увеличен минимум в 2,5–3 раза» (Шевяков 2011: 9).

С этим трудно не согласиться, поскольку действующий перечень необходимых затрат, во всяком случае, его основа — набор продовольственной и вещевой корзин, используемый в настоящее время, был составлен 100 лет тому назад, в другое время и для совершенно других целей. И с тех пор ни разу не оказывался на столе у ученых.

С 1999 года по настоящее время размер бюджета прожиточного минимума, в целом по Российской Федерации, рассчитывается на основании все тех же потребительских корзин, но теперь утвержденных законодательно. Действует Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ (в ред. от 28.12.2017 г.).

До этого размер прожиточного минимума определялся на основании потребительской корзины, установленной федеральными законами «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ и от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ., а также Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011–2012 годах».

В обоих случаях, на что опять-таки, необходимо обратить внимание, — все эти законы принимались на уровне аппарата Правительства, без участия Академии наук и ее научно-исследовательского института «Уровня жизни» (Шибяев 2003: 38).

Обратить внимание, следует также на опасную тенденцию при толковании правительственными чиновниками показателя БПМ. Суть ее в том, что величина БПМ начала некоторыми из них использоваться в выступлениях и документах в качестве обозначения верхнего порога бедности (Шибаяев 2003; Кадомцева 2005; Белоусова 2006). Это означает, что тех людей, которые имеют доход ниже черты прожиточного минимума, они относят к «состоянию бедности». А тех, кто преодолел этот порог, относят к «обеспеченным» или иным благополучным группам, которые, по мнению этих чиновников, не должны уже рассматриваться как «бедные».

Приходится констатировать, что при этом допускается принципиальная ошибка. Не учитывается то обстоятельство, что прожиточный минимум по своему содержанию гарантирует лишь биологическое выживание. Преодолев этот рубеж, человек не может рассматриваться как обеспеченный всем необходимым. Он преодолевает лишь состояние голода, нищеты, но, преодолев ее, он испытывает нужду еще во многих других вещах и услугах, которые могли бы позволить ему вести нормальную жизнь. Он переходит в состояние, которое именуется исследователями как бедность. (Римашевская 2004: 33–43; Тукумцев 2008: 319–338).

Нам представляется, что настало время отказаться от подобных манипуляций с определением границ бедности «на основе интуиции». Настало время для того, чтобы принять правительственное решение о пересмотре содержания набора «прожиточный минимум», обеспечив ему научно-обоснованное современное толкование и оценку. Новый показатель должен учитывать современный уровень жизни и не должен быть рассчитан на лагерного обитателя. Должна, также, на основе серьезного научного анализа определена верхняя границы бедности, чтобы разговоры на эту тему обрели обоснование и способствовали ее реальному сокращению. Пришло время навести порядок в этой чувствительной для судеб государства области законодательства и социальной политики.

Данные наших исследований об уровне оплаты труда

В социологических исследованиях бедности, которые в нашей стране стали осуществляться, лишь с начала 1990-х годов, использовались разные подходы для изучения той части населения, которые представляют собой категорию бедных. Несмотря на то, что первые

социологические исследования проводились в стране еще в 60-е годы, тема оплаты труда и оценка ее достаточности деликатно не затрагивались. Первые оценки состояния «нищеты» и «бедности» в стране начались лишь с 90-х годов. Это был прорыв исследователей в закрытую область материального положения граждан «страны победившего социализма». Необходимо было разработать классификацию бедных, обосновать основания для отнесения респондентов к той или иной категории. Одними из первых к этому приступили в своих исследованиях сотрудники института ИМРД (Москва, Академия наук СССР). Мы имеем в виду Л. А. Гордона и его коллег. Нам представляется, что предложенная ими структура и оценка степени бедности не потеряла своей актуальности и в настоящее время (Гордон, Головачев 1996: 25). В соответствии с этим подходом они предложили признать в обществе наличие двух категорий бедных.

Первая категория была названа ими «социальной бедностью». К этой группе они относили нетрудоспособных людей, а также людей трудоспособных, но в ограниченной степени. Это пенсионеры, инвалиды, больные, физически и психологически неустойчивые граждане. Вторая категория граждан, относимых к категории бедных, это «экономически бедные» или «экономическая бедность». К ним относятся жители страны, которые постоянно заняты в сфере труда, но, тем не менее, не могут обеспечить ни себе, не своей семье достойный уровень благосостояния за счет получаемой ими заработной платы (компенсации за труд). Они работают по найму полный рабочий день и в полном объеме выполняют требования, предъявляемые к ним их рабочим местом. Но при этом они имеют заработную плату, которая либо меньше установленного в обществе уровня «прожиточного минимума», либо не позволяет среднедушевому доходу в их семьях подняться выше этого «прожиточного минимума».

Именно такое определение «бедности» и было использовано в наших исследованиях в Поволжском регионе. На анализ динамики изменений этой категории работающих бедных, на материальное положение работников обрабатывающих производств и его динамику мы и обратили основное внимание в своих исследованиях.

Разговор об уровне бедности на отечественных промышленных предприятиях в последние десятилетия, следует начинать с того, что, что он имеет место не во всех отраслях отечественной индустрии. Низкий уровень оплаты труда и состояние бедности не коснулись, предприятий, относящихся к добывающим отраслям, в том числе

к нефте- и газопереработке. Зато, по ряду причин, он сохраняется на предприятиях обрабатывающих производств региона, в том числе, на предприятиях машиностроения. Стоит обратить внимание на то, что это как раз те сферы производства, где в первую очередь необходима модернизация производственных процессов.

Мы располагаем материалами исследований, которые проводились с нашим участием в течение ряда лет в режиме мониторинга на промышленных предприятиях обрабатывающего производства Самарской области. Эта область в Поволжском регионе в последние годы рассматривается статистиками как медианная территория. Здесь многие социально-экономические показатели очень близки к средним величинам по российской экономике в целом. Это придает особое значение анализу полученных здесь данных.

Статистические данные по обрабатывающим предприятиям этого региона, несмотря на жестокие кризисные явления в экономике, за последнее десятилетие показывают хоть и небольшой, но рост как номинальной, так и реальной величины оплаты труда. Впечатляет и средняя оплата труда по предприятиям. В 2017 году — 35,8 тыс. руб. (см. табл. 1). Для более критичного восприятия приведенных в таблице цифр следует иметь в виду, что эти средние величины рассчитываются статистиками по зарплате не только рабочих предприятий. Учитывается заработная плата всего персонала предприятий, включая управленческий корпус и высшее руководство, а это немалые суммы. Также необходимо иметь в виду, что расчет средней зарплаты выполняется до вычета подоходного налога. Ну и последнее, что нельзя не отметить, это то, что средний уровень зарплаты в добывающих отраслях в 2–3 раза выше того, что сложился в обрабатывающих производствах.

Что же касается наблюдающейся здесь динамики самого роста средней заработной платы по обрабатывающим производствам региона, то это результат внутривыпускных маневров администрации. Рост средней величины зарплаты на предприятиях происходил не в результате повышения оплаты всему персоналу или его большей части. Это был результат вынужденного шага администрации, которые существенно увеличили оплату труда на рабочих местах оснащенных уникальным современным оборудованием. Эти места они в течение ряда лет не могли укомплектовать подготовленными работниками (Авдошина 2007: 144–156).

С конца 1990-х годов в стране обозначился и до настоящего времени сохраняется острый дефицит промышленных рабочих

и специалистов высокой квалификации. В этой ситуации предприятия пытаются переманивать друг у друга, и даже из других регионов, рабочих — специалистов, повышая на этих рабочих местах в разы оплату труда. И эта «охота за кадрами» также внесла свою лепту в существенное повышение средней величины заработной платы на обследованных предприятиях. В таблице 1 показана динамика уровня оплаты труда на основе статистических данных по Самарской области.

Таблица 1

Изменение уровня средней заработной платы промышленных работников обрабатывающего производства за 2008 г. и 2012–2017 гг. (статистические данные¹)

Год	Средняя заработная плата по обрабатывающим производствам, руб.	Величина прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения, руб.	Соотношение величины средней заработной платы и величины ПМ
2008	16 634,4	5 414	3,1
2012	22 854	7 510	3,0
2013	26 067	8 142	3,2
2014	28 044	8 666	3,2
2015	29 704	9 677	3,1
2016	32 154	10 642	3,0
2017	35 832,8	10 333	3,5

Примечания.

1. Данные в 2008 г. и 2012–2013 гг. представлены за сентябрь.
2. Величина ПМ в 2014–2017 гг. дана за IV квартал, а 2008 г. и 2012–2013 гг. — за III квартал.

Как уже говорилось, рост средней величины заработной платы был обеспечен, в основном за счет наиболее квалифицированной части рабочих мест, где работают специалисты, кого не так легко найти на рынке труда. В то же время у работников средней квалификации и малоквалифицированных работников повышение зарплаты было

¹ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. URL: <http://samarastat.gks.ru>.

очень незначительным, как правило, в размерах компенсации роста инфляции.

Сохранялись до окончания исследований и те работники, чьи заработки не превышали величины прожиточного минимума (ПМ). Мы располагаем данными о доле таких работников за периоды 2003–2008 гг. и 2012–2014 гг. Доля работников, получающих заработную плату, которая меньше официальной величины (ПМ) в последние годы сокращалась, но не исчезла. Ниже приводится доля работников (на обследованных предприятиях) имеющих величину оплаты труда ниже величины ПМ, по годам (в процентах к общему числу участников опроса):

2003 год — 8,5; 2004 год — 5,3; 2005 год — 9,4; 2006 год — 6,6; 2007 год — 8,0; 2008 год — 6,3; 2012 год — 3,8; 2013 год — 5,6; 2014 год — 2,4.

Во всех отечественных исследованиях, начиная с 90-х годов, материальное положение таких работников обозначается понятием «нищета». Люди с подобной величиной заработка вынуждены, чтобы выжить, искать дополнительные источники дохода.

Между тем доля работников, которые имеют доход ниже ПМ (прожиточного минимума), как показали исследования значительно больше, чем группа, получающих оплату труда ниже прожиточного минимума.

У каждого работника, как правило, есть семья, о его материальном благополучии справедливее судить не столько по величине его заработка, сколько по среднедушевому доходу его семьи. И, если сложить все доходы семьи и подсчитать величину среднедушевого дохода, то очень часто выясняется, что она оказывается ниже величины прожиточного минимума (ПМ). И материальное положение этого работника следует также, как и в случае с предыдущими группами, оценивать как «нищета».

Расчеты среднедушевых доходов семей были предусмотрены программой наших исследований и выполнялись на основе интервью. В результате обработки данных по обследованным предприятиям формировалось две группы респондентов по уровню дохода. В первую группу включались респонденты, чей заработок не превышал величину прожиточного минимума, а также те, у кого среднедушевой доход в семье был ниже величины прожиточного минимума. Материальное положение этой группы обозначалось по сложившейся традиции,

как «нищета». Во вторую группу вошли респонденты, в семьях которых среднедушевой доход был в диапазоне от одной до двух величин прожиточного минимума (ПМ). Материальное положение этой группы обозначалось в наших исследованиях как «бедность».

В таблице 2 представлена динамика доли наименее обеспеченных работников предприятий машиностроения, ставших объектом исследования (постоянный объем выборки 1000 чел.).

Таблица 2

Изменение по годам доли работников, среднедушевой доход в семьях которых ниже величины прожиточного минимума и ниже его двойной величины (за 2003–2007 гг. и 2012–2013 гг., в процентах; $n = 1000$)

Год	Ниже 1 ПМ (нищета)	От 1 до 2,0 ПМ (бедность)	Всего «бедных» первого и второго уровня
2003	44,1	36,8	80,3
2004	32,1	37,7	69,8
2005	35,6	37,3	72,9
2006	25,3	39,1	64,4
2007	22,4	39,2	61,6
2012	16,3	51,6	67,9
2013	14,4	49,0	63,4

Данные таблицы 2 свидетельствуют о постепенном сокращении доли работников находящихся в группе «нищета», что, безусловно, является позитивным фактом. Но, наряду с этим происходит увеличение группы, которая относится к категории «бедность». Размер этой группы составил в 2012–2013 гг. почти 50% опрошенных работников. Можно сказать, что в целом ситуация в последние годы практически не менялась. Таким образом, по нашим данным не менее 2/3 семей опрошенных нами работников промышленных предприятий по уровню материального благополучия находились по данным исследования, выполненного всего пять лет назад в зоне либо абсолютной, либо относительной бедности (Васькина 2015: 256).

Есть основания считать, что материальное положение, сложившееся у них в настоящее время, мало чем отличается от того, что было

в 2013 г. В 2014–2017 гг., как известно, разразился экономический кризис, на протяжении которого заметных изменений в оплате труда на обследованных предприятиях не происходило. В этом можно убедиться, и наблюдая динамику такого показателя как МРОТ (см. последний раздел статьи).

В таблице 2, уровень бедности завершается величиной среднедушевого дохода, соответствующего значению дохода в размере 2 ПМ. Возникает вопрос: а завершается ли этой величиной среднедушевого дохода состояние «бедности»?

По поводу верхней границы бедности сегодня высказываются достаточно противоречивые суждения и ни одно из них пока что не получило всеобщего признания, потому что в итоге это должно привести к установлению общегосударственного, утвержденного законом «Уровня или черты бедности». А это серьезный политический и экономический шаг.

Правительственные органы в сложившихся условиях не спешат с этим определением. Со своей стороны мы придерживаемся той точки зрения, что в качестве порога преодоления бедности следует рассматривать достижение среднедушевого дохода в семье работника раннего трем величинам «прожиточного минимума» (ПМ).

Наряду с этим вызывает сожаление тот факт, что в некоторых государственных документах, относящихся к оценке бедности в стране, присутствует «железобетонная» убежденность в том, что такого рода границей является величина «прожиточного минимума» (ПМ). А те, кто преодолел этот порог, должны рассматриваться в числе «обеспеченных граждан». И в связи с этим к категории «бедных», предлагается относить только тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимум. А категория «нищета отвергается вообще. Такой подход с одной стороны абсурден, а с другой — тревожен. Тревожен еще и тем, что величину прожиточного минимума, как грань между бедностью и благополучием, стали рассматривать и некоторые государственные политики (Шибаяев 2003: 41; Кадомцева 2005: 51; Белоусова 2006: 65).

Становится очевидным, что в государственном аппарате далеко не всем понятно, что собой представляет показатель «прожиточный минимум». Отсутствует понимание того, что получение работником заработка на уровне «прожиточного минимума» — это всего лишь преодоление состояния голода. Или как называли это состояние исследователи из группы Л. А. Гордона «состояния нищеты». И что

лишь только после преодоления этого противоестественного состояния появляются основания, чтобы называть материальное положение людей «бедностью» в той или иной степени. Создается впечатление, что чиновники стесняются признать тот факт, что в стране есть бедность (Гордон, Головачев 1996: 28). А чего, собственно, стесняться?

Присутствие в составе населения нашей страны значительного числа людей, живущих в условиях бедности, не является чем-то необъяснимым. Бедность в России, как это не грустно сознавать, тесно связана с ее трагической историей в XX столетии и, особенно, в его последнее десятилетие.

В конце XX столетия мы пережили развал союзного государства и катастрофическое сокращение отечественного промышленного производства. События 90-х годов, которые привели к экономической катастрофе, сказались, прежде всего, на положении людей труда, породили нищету и бедность. Как печальный результат отечественной «либеральной революции», уровень оплаты труда работающих в России оказался одним из самых низких на планете. Анализируя положение с оплатой труда в начале XXI века, академик Д. С. Львов писал, что аналогичный труд в ряде стран мира в то же самое время оплачивается в разы выше, чем в нашей стране. Часовая ставка в производстве составляла в 2006 году в России — 1,7 доллара, в Мексике — 4,5, в Канаде — 17,1, в США — 16,4, в Германии — 22,7 доллара (Львов, 2007, с. 37).

Необъяснимым сегодня является, скорее не наличие в стране бедности, а то, почему до сего времени отсутствует понятная всем программа ее преодоления.

О развитии индустриальных отношений в странах с развитой экономикой

В 2001 году в России был подготовлен и утвержден Государственной Думой новый Трудовой кодекс. Он стал основой трудового законодательства в условиях воссозданной рыночной экономики. Временной интервал между переходом страны «к рынку» и появлением Трудового кодекса составил около десяти лет. На протяжении этого десятилетия, ставшего десятилетием «правовой вольницы», трудовые отношения в стране строились «по понятиям» и «по наитию». И в этом была первая особенность этого законодательного акта. Он появился, когда между работодателями и наемными работниками стихийно уже

сложились «правила игры», устраивающие, главным образом, работодателя, которые надо было, как-то менять. Но это оказалось не просто. С некоторыми из них государственная власть не может справиться до сих пор. Например, с нерегулярной выплатой заработной платы или с нежеланием собственника обсуждать с персоналом вопросы оплаты труда и заключать по установленным правилам трудовой договор.

Второй особенностью стало то, что, создавая Трудовой кодекс, его составители повели себя так, как будто рыночной экономики и наемного труда кроме России нигде в мире не существует. Разработчики кодекса не нашли нужным использовать опыт зарубежных стран по формированию бесконфликтных трудовых отношений, не способствовали созданию аналогичных систем контроля над их состоянием. В сложившихся условиях ничто не мешало использовать опыт стран Европы и Америки. Там создано в течение десятилетий, в том числе в рамках законодательства, немало норм и социальных институтов, обеспечивающих успешность функционирования трудовых отношений. Это позволило им успешно перевооружить свое индустриальное производство, не встречая проблем, связанных с неготовностью персонала к такому изменению содержания труда

Следует признать, что в отечественном трудовом кодексе упоминаются некоторые идеи из зарубежного законодательства (идея социального партнерства, приглашение работников к управлению производством, обсуждение и подписание коллективных договоров, встречи работников с руководством и т. п.). Но эти идеи в итоге остаются лозунгами, потому что контроль над их соблюдением в кодексе не прописан. Здесь не обозначена правовая ответственность работодателей, чиновников государственной системы управления и прокуратуры за контролем над соблюдением требований трудового законодательства. И никто из них сегодня и в принципе не несет ответственности за свое бездействие при нарушении трудовых прав. И поэтому, когда, например, внезапно, с нарушением договорных отношений собственник закрывает предприятие, а рабочих оставляет «за воротами» (как это было с цементным заводом в Пикалево), устранением этого произвола занимается, не прокурор, а почему-то, лично Премьер-министр. Это говорит о том, что система защиты труда со стороны государства либо несовершенна, либо не действует. Также не действует в стране система контроля за уровнем и своевременной выплатой заработной платы. Отсутствует программа преодоления бедности.

Зарубежный мир, использующий рыночную экономику, накопил значительный опыт решения подобных проблем. А если так, то какой смысл этот опыт игнорировать.

Коренная перестройка индустриальных отношений в странах развитой экономики началась с изменения государственной политики в этой сфере. Причем еще до начала Второй мировой войны и, прежде всего, с изменения оплаты наемных работников. Правительствами этих стран, заметно «полевевшими» к тому времени под влиянием революционных и военных событий того времени, было инициировано создание международной научной организации, изучающей состояние индустриальных (трудовых) отношений — Международной организации труда (МОТ). Она разместилась на территории Швейцарии, и продолжает действовать там и в настоящее время. Одним из соучредителей этой организации стала и Россия (СССР), которая была принята туда в 1928 году. Опираясь на исследования экспертов этой организации, правительствами ряда промышленно развитых стран Европы были внесены существенные коррективы в государственное трудовое законодательство этих стран, в том числе и в практику заключения коллективных договоров и формирования социального партнерства.

Не останавливаясь подробно на этом довоенном периоде развития практики индустриальных отношений в европейских странах, мы считаем целесообразным обратить внимание на послевоенный период развития там индустриальных отношений.

Восстанавливая и модернизируя после Второй мировой войны свою промышленность, страны Европы и Америки приступили к широкому использованию достижений научно-технического прогресса. В те годы ими осваивалось пятое поколение оборудования с высокой степенью автоматизации и компьютеризации. И здесь фирмы сразу же столкнулись с препятствием социального характера, порождаемым новым типом промышленного производства. Столкнулись с «кризисом трудовой активности», о чем мы ранее говорили.

Несмотря на всю сложность, эта проблема в Европейских странах была последовательно решена. В соответствии с рекомендациями МОТ, а также используя опыт, ушедшего за время Второй мировой войны далеко вперед менеджмента США, они кардинально изменили положение наемных работников на предприятиях. Произошло значительное повышение минимального уровня оплаты труда. Был заимствован новый подход к его определению, использованный в США. Об этом подходе подробно пишет А. А. Никифорова в своей статье

«Минимальная заработная плата в странах с рыночной экономикой». Говоря о практике определения минимального уровня оплаты труда в Штатах, она пишет: *«Минимальная заработная плата работника, работающего полное рабочее время круглогодично, должна обеспечивать уровень жизни для трех членов семьи работника выше порога бедности, который разработан Администрацией по социальному обеспечению в 1964 г.»* (Никифорова 1997: 90).

Повышение минимальной оплаты труда в странах Европейского союза оказало влияние на всю сетку заработной платы. И существенно повлияло на материальное положение и настроение персонала. Работники наемного труда стали все больше ценить предприятие, на котором они трудятся, интересоваться его перспективами. Большую роль в развитии сотрудничества между администрацией предприятий и работниками наемного труда сыграла также реализация правительственных программ «Социальное партнерство» и «Рабочие советы предприятий» Все это создало условия для постепенной идентификации персонала с деятельностью их фирм (Бочаров, Тукумцев 2015 а: 16–20).

Приведенное выше описание нового этапа формирования индустриальных отношений в экономически развитых странах, создавшего новый уровень материального и статусного положения работников наемного труда на предприятиях, свидетельствует о реальности решения сложных социальных проблем, способствующего развитию производства.

Возвращаясь к социальной обстановке, и особенно к сложившейся норме оплаты на обследованных нами отечественных предприятиях машиностроения, следует признать, что ее изменение в сторону увеличения во всех отношениях весьма актуальны для отечественного производства и не только производства. При этом следовало бы иметь в виду, что последствия низкого материального уровня жизни работников предприятий являются не только существенным препятствием на пути промышленной модернизации.

Складывающийся у определенной части работающих синдром бедности оказывает неизбежное влияние не только на характер их трудового поведения. Он сказывается и на их внепроизводственной жизни, на жизни их семей, их детей. Последствием этого становятся проблемой российского общества в целом. Бедность становится тормозом не только для технологического развития страны. Он становится препятствием для социально-экономического развития российского общества в целом.

Работники предприятий, которые относятся исследователями к категории «бедных» или «нищих», это не просто люди, у которых доход на какую-то сумму меньше, чем у других граждан. Это, носители иной, особой субкультуры. Субкультуры, которая существенно отличается от культуры развивающегося в целом Российского общества. Адаптируясь к жизни в рамках имеющихся у них материальных ограничений, эти люди создают свои правила и нормы жизни. И действуют в этих рамках. Сложившиеся в их среде социальные институты можно назвать субкультурой нищеты или субкультурой бедности.

Носители этой субкультуры своею деятельностью, а еще более своей бездеятельностью, создают не ожидаемые и внешне невидимые препятствия в деятельности предприятия. Как пишет об этом Л. А. Беляева: *«Обесцененный» труд снижает мотивацию работников к повышению качества продукции и услуг, не содействует предприятию, на котором он трудится, выступать конкурентом на мировом рынке* (Беляева 2006: 54).

Субкультура бедности, а тем более нищеты, становится источником девиантного поведения и на производстве, и вне его. В литературе можно встретить несколько определений даваемых этим субкультурам. Мы предлагаем для них такое толкование.

Субкультура бедности — это способ жизнедеятельности людей, которые из-за низкого уровня дохода не имеют возможности следовать принятым в обществе ценностям и нормам повседневного поведения. Они не в состоянии обеспечить развитие и воспитание своих детей на уровне сложившихся в обществе требований, не в состоянии заботиться о своем здоровье, повышать профессиональный статус, создавать нормальные условия быта.

В среде бедных складывается свой ценностный мир, своя культура, свои нормы потребления и отношения к окружающему их обществу. Здесь действуют свои представления о жизненных целях, справедливости и нравственности.

Субкультура нищеты представляет собой образ жизни людей, которые по уровню душевого дохода находятся в диапазоне ниже ступени бедности. Душевой доход этих людей не достигает величины «прожиточного минимума» или едва ее достигает. Этот уровень дохода не гарантирует им даже биологического выживания в полном объеме и требует постоянного поиска дополнительных источников жизни. Недоедание и невозможность удовлетворить свои элементарные социальные потребности побуждают эту категорию людей использовать

морально неприемлемые источники дохода.

Субкультуры, о которых идет речь, не только отличаются от правил и норм, принятых в обществе, но и находятся в состоянии культурного конфликта с ними. А как же в данных условиях поступать тем семьям, которые оказались в ситуации бедности и нищеты? Они поставлены перед необходимостью формировать свой, отличный от большей части общества, способ жизни. Иначе им не выжить (Тукумцев 2008: 319–338; Ярошенко 2006: 36).

Показатель МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и его использование в интересах преодоления бедности

В мировой практике развития трудовых (индустриальных) отношений, с середины минувшего столетия началось широкое использование такого показателя, как «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ). Социально-экономическое обоснование величины этого показателя позволила обеспечить ему доверие каждой из сторон индустриальных отношений и превратило его в главное средство государственного регулирования и контроля над уровнем оплаты труда и материальным благополучием работников наемного труда. Если величина «бюджета прожиточного минимума» (БМП), о котором мы говорили выше в этой статье, призвана сегодня определять объем средств, необходимых для поддержки напряженного труда и достойной жизни одного человека на протяжении месяца, то показатель МРОТ устанавливает минимальный размер заработной платы работника, которая должна обеспечить жизнь его семьи и некоторые иные, например, транспортные расходы, расходы на укрепление здоровья и т. п.

Сама идея предоставления государственным органам власти права и, одновременно, обязанности определять минимально-допустимую величину оплаты наемного труда родилась в начале XX столетия в экономически развитых странах Европы. И, прежде всего, она была вызвана к жизни, как мера по снижению социальной напряженности. По мере укрепления демократических норм жизни левыми партиями и профсоюзами все более настойчиво предпринимались попытки побудить государственную законодательную власть пресечь произвол владельцев предприятий и их администраций в сфере оплаты труда. Появление МРОТ был воспринят сторонами трудовых (индустриальных) отношений положительно. Благодаря установлению института «минимальной заработной платы» и договориться о его величине,

государствам Европы удалось добиться снижения напряженности в индустриальных (трудовых) отношениях и существенно увеличить уровень материального благосостояния работников наемного труда, что, в свою очередь и очень кстати, создало необходимые социальные предпосылки для технологического переоснащения производства.

Разумеется, необходимость подобного шага «осенила» власти и собственников капитала Европейских государств не сразу. Исследователи отмечают, что политические структуры Европейских государств и государств Америки, длительное время не решались изменить свою традиционную позицию по отношению к владельцам производственных предприятий и к состоянию установленных ими трудовых отношений. В течение столетий власть была ориентирована на их поддержку, как основных налогоплательщиков и гарантов развития государства. И лишь XX век, с его революционными выступлениями, достижениями научно-технического прогресса и изменением роли и места человека в современном производстве и мире, побудил их внести существенные коррективы в свою социальную политику. Государственные лидеры и политические партии начали осознавать, что в справедливой оценке результатов труда, в установлении достойного уровня его оплаты таится не только благо для работников. Пришло понимание того, что справедливая материальная обеспеченность работников предприятий гарантирует политическую стабильность. Этим, кстати, объясняется и поддержка такой политики собственниками предприятий (Мейсон 2016).

Защиту прав работника наемного труда постепенно начало во все больших масштабах осуществлять государство с его структурами инспекций труда, судов и прокуратуры (Эдуардов 2005).

Введение в практику показателя МРОТ, как социального стандарта и нижнего уровня, ниже которого не может быть величина заработной платы работников наемного труда, было осуществлено не без поддержки Международной организации труда (МОТ). Эта организация, созданная в Европе сразу же после окончания Первой мировой войны, приняла в 1928 году Конвенцию по обоснованию минимальной величины оплаты труда (МРОТ) во всех странах участницах этой организации (Конвенция № 26 от 1928 г.). Содержание Конвенции требовало, чтобы установленный размер МРОТ был обязательным для всех групп, работающих по найму. Рекомендовался дифференцированный подход к увеличению минимальной оплаты труда для разных категорий работников наемного труда. Но во всех случаях он *должен был быть*

не меньше трех минимальных размеров прожиточного минимума (Никифорова 1997: 86). Благодаря этой конвенции, законодательное установление минимального уровня заработной платы получило широкое распространение во всех экономически развитых странах мира.

Сегодня «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) известен в мировой практике как инструмент государственной власти, с помощью которого состоянию оказывается влияние на улучшение благосостояния людей, работающих по найму, повышается их покупательную способность, снижается социальную напряженность на предприятиях и в масштабах стран.

Выше уже говорилось о том, что еще в двадцатые годы прошлого века наша страна вошла в число «участников» этой Международной организации труда и стала пользоваться ее рекомендациями. В частности, были сделаны попытки использовать рекомендации конвенции МОТ о введении показателя «минимальный размер оплаты труда». В соответствии с этим в Советском Союзе минимальная величина оплаты труда была признана, как показатель оплаты труда. После его распада он был признан в России (Литвинов 2006: 54). В те годы Правительство СССР стремилось использовать рекомендации МОТ, чтобы не отставать в социальном плане от стран Европы. Но экономические возможности были тогда несопоставимыми. Поэтому, в практику, на начальном этапе, — в 1932 году, было введено Кодексом законов о труде лишь понятие «обязательный минимум оплаты». Однако сама величина минимальной оплаты в СССР до 1940-х годов так и не была установлена.

К определению МРОТ вернулись в 1970-х годах. В соответствии с п. 2 Постановления ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС № 842 от 12.12.1972 был установлен минимальный размер оплаты труда рабочих и служащих, в размере 70 рублей. Он не менялся вплоть до 1991 года.

19 апреля 1991 года Верховный совет РСФСР принял закон «О повышении социальных гарантий для трудящихся», который установил МРОТ в размере 180 руб. в месяц с 1 октября 1991 года. С 1 января 1992 года его повысили до 195 руб.

Эти годы были наполнены событиями, связанными с развалом Советского Союза, с девальвацией денежной массы. Тем не менее, 15 ноября 1991 года Правительство РСФСР приняло постановление, в котором с 1 декабря 1991 года был установлен МРОТ в размере 200 руб.

С началом нового тысячелетия ситуация с минимальным размером оплаты труда оказалась вообще на «обочине» социальной политики Ежегодно устанавливаемый Государственной Думой минимальный

размер оплаты труда (МРОТ) позволяет утверждать, что эта мера защиты интересов работников наемного труда не имеет никакого отношения к реалиям жизни. На величину денежных средств, утверждаемых Государственной Думой ежегодно, начиная с 2000-го года и именуемых МРОТ, невозможно не только прожить, но просто выжить (см. табл. 3). До 2018 года она не достигала даже величины бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Таблица 3

Соотношение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в России за период 2000–2018 гг.

Год	Величина МРОТ (руб.) установленная согласно Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ и его дальнейших изменений	Величина БПМ для всего населения в IV кв. (в руб.)*	Доля МРОТ от величины БПМ
2000	132,0	1285	10,3
2002	450,0	1893	23,8
2003	600,0	2143	28,0
2006	1100,0	3437	32,0
2008	2300,0	4693	49,0
2010	4330,0	5902	73,4
2014	5554,0	8234	67,5
2017	7800,0	9786	79,7
2018 (с 01.07)	11163,0	10038**	111,2

* Данные взяты из «Справки о величине прожиточного минимума» подготовленной экспертами компании «Гарант» // Система ГАРАНТ. URL: <http://base.garant.ru/3921257/#ixzz5NbCvxyh2> [Дата посещения: 21.07.2018].

** Правительством РФ принято решение, что с 1 мая 2018 года в России прожиточный минимум временно изменяться не будет, так как для анализа экономических показателей и потребительской корзины первого квартала этого года потребуется время.

Только в 2018 году по широко озвученному указанию Президента РФ величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) сравнялась с уровнем бюджета прожиточного минимума (БПМ). При этом в законе

говорится: «Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года» (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ). Иными словами — улучшение благосостояния людей, работающих по найму в ближайшее время не обещается.

Такое решение, к сожалению, не ориентировано на преодоление в стране состояния бедности. Оно ее закрепляет. Соответственно, оно позволяет бизнесу не заботиться ни о повышении производительности труда, ни о достойном уровне оплаты труда. Не исключено, что низкий уровень оплаты рабочей силы в нашей стране рассматривается в качестве ее преимущества на мировом рынке капиталов.

Ниже приводится соотношение устанавливаемой Государственной Думой минимальной величины оплаты труда (с 2000 года по настоящее время) и величины прожиточного минимума, рассчитываемого в этот же период на основе реальных цен по России (величина ПМ приводится здесь по последнему кварталу каждого года) (см. табл. 3).

Приведенные в таблице 3 величины МРОТ неизбежно вызывают недоумение. Каков смысл установления минимального рубежа оплаты труда, который не имеет отношения ни к улучшению жизни работающего населения страны, ни к формированию социального сотрудничества сторон в области трудовых отношений? В 2018 году узаконенная величина минимальной заработной платы (МРОТ) повысила минимальный уровень выплаты работнику зарплаты, которая едва-едва превышает (на 11%) величину прожиточного минимума, хотя ни для кого не секрет, что работник, получая такую узаконенную оплату труда, заведомо оказывается на грани нищеты. Зато работодатель получает право выплачивать ему зарплату, не заботясь о том, что на нее может прожить только сам работник. Про то, что у него может быть семья и дети, в соответствии с принятым законом он, работодатель, в расчет может не принимать.

Заключение

Рассмотренная нами ситуация в сфере оплаты труда на предприятиях промышленного, обрабатывающего производства вызывает немало размышлений. Не меньше вопросов вызывает и государствен-

ная социальная политика в области состояния трудовых отношений и установления минимального размера оплаты труда. В сложившейся ситуации не создается условий для преодоления состояния бедности в семьях работников на этих предприятиях. Социально-экономическая ситуация в обрабатывающем производстве, которая сформировалась там к настоящему времени, создает труднопреодолимые преграды на пути предстоящего внедрения в производство новых, современных технологий. Очень нелегко, ничего не меняя в сфере трудовых отношений, изменить культуру труда на предприятиях обрабатывающего производства и добиться приверженности людей к работе на них, к идентификации с их целями и задачами. А ведь это является важнейшим социальным условием предстоящей модернизации. Очень сложно в таких условиях привлечь на работу в уникальные производства молодых выпускников учебных заведений и специалистов. Пришло время серьезно разобраться со сложившейся ситуацией.

Источники

Авдошина Н. В. Социально-трудовая сфера как объект социологического анализа // Проблемы труда, трудовых отношений и качества жизни: сб. науч. материалов Всероссийской научно-практической конференции, Самара, 11–12 октября 2007 г. — Самара: Изд-во «Универс групп», 2007. — С. 144–156.

Белуосова С. Анализ уровня бедности // Экономист. — 2006. — № 10. — С. 64–71.

Беляева Л. А. Социальная стратификация и бедность в регионах России // Социологические исследования. — 2006. — № 9. — С. 52–62.

Блинов А., Сидорова А. Проблемы бедности в России и на Украине // Экономист. — 2006. — № 6. — С. 62–67.

Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / пер. с фр. под общ. ред. С. Фокина. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 976 с.

Бочаров В. Ю. Социальный институт наемного труда в современной России. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. — 640 с.

Бочаров В. Ю., Тукумцев Б. Г. Кризис трудовой активности // Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь. — СПб.: Наука, 2006. — С. 124–125.

Бочаров В. Ю., Тукумцев Б. Г. Новые требования к работнику промышленного производства в условиях современной модернизации (социологический анализ) // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. — 2015 б. — № 3 (111). — С. 44–49.

Бочаров В. Ю., Тукумцев Б. Г. Социальное партнерство на промышленных предприятиях / Петербургская социология сегодня — 2015: сб. науч. трудов Социологического института РАН. — Вып. 6. — СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015 а. — С. 10–63.

Ван Дик Р. Преданность и идентификация с организацией / пер. с нем. — Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. — 140 с.

Васькина Ю. В. Заработная плата и уровень жизни работников промышленности Поволжья / Петербургская социология сегодня — 2015: сб. науч. трудов Социологического института РАН. — Вып. 6. — СПб.: «Нестор-История», 2015. — С. 236–265.

Гордон Л. А. Четыре рода бедности в современной России // Социологические исследования. — 1994. — № 4. — С. 18–35.

Гордон Л. А., Головачев Б. В. Критерии бедности в современной России // ВЦИОМ. — 1996. — № 6 (194). — С. 23–46.

Инишаков О., Фролов Д. «Простые люди» и индикаторы развития // Экономист. — 2006. — № 11. — С. 60–66.

Кадошцева С. Социальная политика и население // Экономист. — 2006. — № 7. — С. 48–58.

Конвенция № 26 Международной организации труда «О создании процедуры установления минимальной заработной платы». Принята в Женеве 16.06.1928 на 11-й сессии Генеральной конференции МОТ // URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=21613 [Дата посещения: 21.07.2018].

Латин Н. И. Проблема формирования концепции человеческих измерений стратегии позитивной модернизации России и ее регионов // Социологические исследования. — 2014. — № 12. — С. 11–12.

Литвинов В. А. Правда о вкусной и здоровой пище (показатели потребления в России за 100 лет) // Человек. — 2006. — № 2. — С. 46–57.

Львов С. В. Образы бедности и богатства в Российском общественном сознании // Мониторинг общественного мнения, экономические и социальные перемены. — 2007. — № 1 (81). — С. 34–43.

Минимальный размер оплаты труда. Досье / ТАСС. Информационное агентство России // URL: <http://tass.ru/info/4851457> [Дата посещения: 21.07.2018].

Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 416 с.

Никифорова А. А. Минимальная заработная плата в странах с рыночной экономикой // Труд за рубежом. — 1997. — № 4. — С. 86–99.

Прожиточный минимум // Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь / отв. ред. В. А. Ядов. — СПб.: Наука, 2006. — С. 222.

Римашевская Н. М. Бедность и маргинализация населения // Социологические исследования. — 2004. — № 4. — С. 33–43.

Романов П. В. Социологические интерпретации менеджмента: исследование управления, контроля и организаций в современном обществе. — Саратов: СГТУ, 2000. — 216 с.

Справка о минимальном размере оплаты труда (подготовлена экспертами компании «Гарант») // Система ГАРАНТ. URL: <http://base.garant.ru/10180093/> [Дата посещения: 21.07.2018].

Струмилин С. На плановом фронте (1920–1930). — М.: Госполитиздат, 1958. — 626 с.

Тукумцев Б. Г. Бедность и нищета работников промышленного производства // Журнал исследований социальной политики. — 2008. — Т. 6. № 3. — С. 319–338.

Тукумцев Б. Г. Самарский мониторинг социально-трудовой сферы // Социологические исследования. — 2001. — № 7. — С. 41–50.

Шевяков А. Ю. Неравенство доходов как фактор экономического и демографического роста // Инновации. — 2011. — № 01(147). — С. 7–18.

Шиббаев А. А. Как определяли прожиточный минимум в России // Вестник государственного страхования. — 2003. — № 2. — С. 74–80.

Эдуардов С. Внутренний враг американской экономики слабеет // Утро. № 8. август 2005. URL: <http://www.utro.ru/articles/2005/08/08/465776.shtml> [Дата посещения: 21.07.2018].

Ярошенко С. С. Теоретические модели бедности // Рубеж. — 1991. — № 8–9. — С. 31–44.

Ярошенко С. С. Четыре социологических объяснения бедности (опыт анализа зарубежной литературы) // Социологические исследования. — 2006. — № 7. — С. 34–42.

References

Avdoshina N. V. Social'no-trudovaya sfera kak ob''ekt sociologicheskogo analiza // Problemy' truda, trudovy'x otnoshenij i kachestva zhizni: sb. nauch. materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Samara, 11–12 oktyabrya 2007 g. — Samara: Izd-vo «Univers grupp», 2007. — S. 144–156.

Belousova S. Analiz urovnya bednosti // E'konomist. — 2006. — № 10. — S. 64–71.

Belyaeva L. A. Social'naya stratifikaciya i bednost' v regionax Rossii // Sociologicheskie issledovaniya. — 2006. — № 9. — S. 52–62.

Blinov A., Sidorova A. Problemy' bednosti v Rossii i na Ukraine // E'konomist. — 2006. — № 6. — S. 62–67.

Boltanski L., K'yapello E'. Novy'j dux kapitalizma / per. s fr. pod obshh. red. S. Fokina. — М.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011. — 976 s.

Bocharov V. Yu. Social'ny'j institut naemnogo truda v sovremennoj Rossii. — Samara: Izd-vo «Samarskij universitet», 2010. — 640 s.

Bocharov V. Yu., Tukumcev B. G. Krizis trudovoj aktivnosti // Sociologiya truda. Teoretiko-prikladnoj tolkovy'j slovar'. — SPb.: Nauka, 2006. S. 124–125.

Bocharov V. Yu., Tukumcev B. G. Novy'e trebovaniya k rabotniku promy'shленного производства v usloviyax sovremennoj modernizacii (sociologicheskij analiz) // Teleskop: zhurnal sociologicheskix i marketingovy'x issledovanij. — 2015 b. — № 3 (111). — S. 44–49.

Bocharov V. Yu., Tukumcev B. G. Social'noe partnerstvo na promy'shleny'x predpriyatiyax / Peterburgskaya sociologiya segodnya — 2015: sb. nauch. trudov Sociologicheskogo instituta RAN. — Vy'p. 6. — SPb.: Izd-vo «Nestor-Istoriya», 2015 a. — S. 10–63.

Van Dik R. Predannost' i identifikaciya s organizaciej /per. s nem. — X.: Izd-vo Gumanitarny'j Centr, 2006. — 140 s.

Vas'kina Yu. V. Zarabotnaya plata i uroven' zhizni rabotnikov promy'shlenosti Povolzh'ya / Peterburgskaya sociologiya segodnya — 2015: sb. nauch. trudov Sociologicheskogo instituta RAN. — Vy'p. 6. — SPb.: «Nestor-Istoriya», 2015. — S. 236–265.

Gordon L. A. Chety're roda bednosti v sovremennoj Rossii // Sociologicheskij zhurnal. — 1994. — № 4. — S. 18–35.

Gordon L. A., Golovachev B. V. Kriterii bednosti v sovremennoj Rossii // VCIOM. — 1996. — № 6 (194). — S. 23–46.

Inshakov O., Frolov D. «Prosty'e lyudi» i indikator'y razvitiya // E'konomist. — 2006. — № 11. — S. 60–66.

Kadomceva S. Social'naya politika i naselenie // E'konomist. — 2006. — № 7. — S. 48–58.

Konvenciya № 26 Mezhdunarodnoj organizacii truda «O sozdanii procedury' ustanovleniya minimal'noj zarabotnoj platy'». Prinyata v Zheneve 16.06.1928 na 11-j sessii General'noj konferencii MOT // URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=21613 [Data poseshheniya: 21.07.2018].

Lapin N. I. Problema formirovaniya koncepcii chelovecheskix izmerenij strategii po'tapnoj modernizacii Rossii i ee regionov // Sociologicheskije issledovaniya. — 2014. — № 12. — S. 11–12.

Litvinov V. A. Pravda o vkusnoj i zdorovoj pishhe (pokazateli potrebleniya v Rossii za 100 let) // Chelovek. — 2006. — № 2. — S. 46–57.

L'vov S. V. Obrazy' bednosti i bogatstva v Rossijskom obshhestvennom soznanii // Monitoring obshhestvennogo mneniya, e'konomicheskie i social'ny'e peremeny'. — 2007. — № 1 (81). — S. 34–43.

Minimal'ny'j razmer oplaty' truda. Dos'e / TASS. Informacionnoe agentstvo Rossii // URL: <http://tass.ru/info/4851457> [Data poseshheniya: 21.07.2018].

Mejson P. Postkapitalizm: putevoditel' po nashemu budushhemu. — M.: Ad Marginem Press, 2016. — 416 s.

Nikiforova A. A. Minimal'naya zarabotnaya plata v stranax s ry'nochnoj e'konomikoj // Trud za rubezhom. — 1997. — № 4. — S. 86–99.

Prozhitochnyj minimum // Sociologiya truda. Teoretiko-prikladnoj tolkovyj slovar' / otv. red. V. A. Yadov. — SPb.: Nauka, 2006. — S. 222.

Rimashevskaya N. M. Bednost' i marginalizaciya naseleniya // Sociologicheskie issledovaniya. — 2004. — № 4. — S. 33–43.

Romanov P. V. Sociologicheskie interpretacii menedzhmenta: issledovaniya upravleniya, kontrolya i organizacij v sovremennom obshhestve. Saratov: SGTU, 2000. — 216 s.

Spravka o minimal'nom razmere oplaty' truda (podgotovlena e'kspertami kompanii «Garant») // Sistema GARANT. URL: <http://base.garant.ru/10180093/> [Data posesheniya: 21.07.2018].

Strumilin S. Na planovom fronte (1920–1930). — M.: Gospolitizdat, 1958. — 626 s.

Tukumcev B. G. Bednost' i nishheta rabotnikov promyshlennogo proizvodstva // Zhurnal issledovaniy social'noj politiki. — 2008. — T. 6, № 3. — S. 319–338.

Tukumcev B. G. Samarskij monitoring social'no-trudovoj sfery' // Sociologicheskie issledovaniya. — 2001. — № 7. — S. 41–50.

Shevyakov A. Yu. Neravenstvo dohodov kak faktor e'konomicheskogo i demograficheskogo rosta // Innovacii. — 2011. — № 01(147). — S. 7–18.

Shibaev A. A. Kak opredelyali prozhitochnyj minimum v Rossii // Vestnik gosudarstvennogo straxovaniya. — 2003. — № 2. — S. 74–80.

E'duardov S. Vnutrennij vrag amerikanskoj e'konomiki slabeet // Utro. № 8. avgust 2005. URL: <http://www.utro.ru/articles/2005/08/08/465776.shtml> [Data posesheniya: 21.07.2018].

Yaroshenko S. S. Teoreticheskie modeli bednosti // Rubezh. — 1991. — № 8–9. — S. 31–44.

Yaroshenko S. S. Chety're sociologicheskix ob'yasneniya bednosti (opy't analiza zarubezhnoj literatury') // Sociologicheskie issledovaniya. — 2006. — № 7. — S. 34–42.

А. М. СТЕПАНОВ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ*

Исследование миграционных процессов в современных социальных науках характеризуются дисциплинарной и методологической фрагментацией, отсутствием единого подхода к проблеме исследования. Цель настоящей статьи — предложить один из путей построения концептуальных рамок исследования современной миграции, основанный на соединении сравнительного транснационального подхода и социологии повседневности. Такой подход позволит преодолеть дисциплинарные ограничения и учесть влияния сходств и различий в политической, экономической, социальной, культурной сфере в исторической динамике миграционных процессов, а также позволит анализировать неформальные практики и повседневные взаимодействия транснациональных мигрантов как в принимающем обществе, так и в стране исхода. Ключевым понятием данного подхода является понятие «транснациональные практики». В статье приводится авторское определение данного понятия, а также обоснование необходимости обращения к методологическому аппарату социологии эмоций при изучении повседневности транснациональных мигрантов, включающую реализацию транснациональных практик.

Ключевые слова: транснациональные практики, транснационализм, миграция, социология повседневности, миграционный процесс, мигрант.

Введение

Миграция населения, представляя собой сложный и многомерный социальный процесс, оказывает влияние на все сферы жизни современного общества.

Миграцию населения может рассматриваться как феномен и как объект исследования. Как феномен — процесс перемещения людей — она представляет собой важную социальную проблему, в том числе, для жителей постсоветского пространства (Скворцов 2015). Постоянно возрастающая интенсивность миграционных потоков сделала миграцию объектом большого количества разнообразных исследований: практически любая социальная наука сегодня в той или иной степени занимается проблемами миграции людей. Как объект исследования,

* Статья подготовлена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований в рамках проекта № 16-33-01123-ОГН.

миграция трактуется по-разному, что выражается в формулировках разных исследовательских проблем в рамках различных областей науки. Можно говорить о том, что исследования миграции (migration studies) существуют как «междисциплинарное тематическое поле, в котором работают представители разных дисциплин: социологи, демографы, социальные географы, антропологи, политологи, экономисты» (Резаев 2017:4). Столь высокий исследовательский интерес со стороны экономистов, юристов, географов, антропологов, социологов и др. формирует междисциплинарную и методологическую фрагментацию, при этом их концепции и методы изучения данного феномена могут даже противоречить друг другу.

Стремительное развитие методологического аппарата изучения миграции было обусловлено объективными обстоятельствами активизации миграционных процессов, в числе которых — наложение процессов глобализации на неравномерное социально-экономическое развитие различных регионов мира (Коллиер 2016). Во второй половине XX в. изменился как масштаб, так и характер перемещения людей. В связи с этим на середину — вторую половину XX в. приходится скачкообразный рост интереса к миграционным процессам. Это было обусловлено объективными процессами, происходящими в разных странах и на разных континентах, которые обычно характеризуются понятием «глобализация» и связаны, в числе прочего, с распадом империй, отделением бывших колоний и реструктуризацией мировой экономики.

Вторая половина XX века характеризовалась высоким уровнем не только трудовой миграции из менее экономически развитых стран в более развитые, но и большим количеством беженцев, которые старались спастись от нестабильности стран Третьего мира. Миграционные процессы приобрели существенные отличия от более ранних массовых перемещений: в них оказались вовлечены как страны с длительной миграционной историей (США, Австралия, Канада), так и страны, где раньше не было большого количества мигрантов (страны Западной Европы, Япония). В связи с активизировавшимися миграционными процессами в этот период, для многих стран назрела необходимость разработки адекватной миграционной политики, что в свою очередь поставило ученых перед необходимостью комплексного познания сущности, раскрытия закономерностей и механизмов миграционных потоков, их моделирования, диагностики и прогнозирования (Юдина 2006).

Таким образом, в конце XX в. на фоне критики теорий ассимиляции и констатацией неудачи проекта мультикультурализма (Malik 2015), назрела необходимость в новом подходе к миграционным исследованиям, способным анализировать влияние миграции, как на страну исхода мигранта, так и на принимающее общество.

Миграционный процесс с позиций транснационального подхода

Из всего многообразия теорий, которые появились в этот период, наиболее перспективным нам представляется сравнительный транснациональный подход. Не останавливаясь на определении и истории возникновения транснационализма (Степанов 2018), обозначим аргументы в пользу обозначенного выше подхода.

Во-первых, проведение сравнительных и сравнительно-исторических исследований дает возможность преодолеть дисциплинарные ограничения (Резаев, Стариков, Трегубова 2014; Ragin 1989), и позволяет учитывать влияния сходств и различий в политической, экономической, социальной, культурной сфере, в социально-экономическом и этническом составе миграционных потоков, в исторической динамике миграционных процессов. Так, классик сравнительной методологии Н. Смелзер, утверждает, что сравнительный анализ, междисциплинарность и интернационализация в социальных науках поддерживают и усиливают друг друга: сравнительное исследование позволяет узнавать, как экономические, политические, социальные и т. д. факторы влияют на объект исследования, а интернационализация предполагает, что научное знание, полученное в ходе сравнения разных обществ, охватывает не один конкретный регион, но может быть универсализировано (Smelser 2003). Во-вторых, транснациональный социологический подход позволяет исследовать процессы, происходящие «за пределами» (beyond) национальных границ, которые являются особенно актуальными в эпоху глобализации: в связи с изменениями в характере миграционных процессов появилась необходимость в новых теоретических конструкциях, способных анализировать влияние миграции, как на принимающие страны, так и на страны исхода. Транснациональный подход обращается к проблемам адаптации и интеграции мигрантов в принимающих странах, исследуя их социальные связи и повседневные практики — в этом отношении,

он дает возможности для объединения парадигмальных оснований различных социологических направлений.

Ключевым для определения концептуальных рамок изучения современной миграции, на наш взгляд, является понятие «миграционный процесс». В научной литературе существуют различные трактовки данного понятия и различные типологии этапов миграционного процесса. Мы придерживаемся наиболее общего определения, сформулированного П. П. Лисицыным: миграционный процесс — это «последовательная, протяженная во времени цепочка действий, результатом которой является обретение статусов эмигранта и иммигранта с последующей потерей либо обоих статусов, либо статуса иммигранта» (Лисицын 2017:16). В рамках миграционного процесса, определенного с точки зрения действий мигрантов, мы обращаем внимание на ту их активность, которая происходит во время их пребывания (поселения) на новой территории.

Принимая во внимание множество существующих подходов к классификации мигрантов, мы предлагаем выделять различные типы мигрантов, исходя из того, какие «цепочки целенаправленных действий... выражающихся в конкретных и фиксируемых повседневных практиках» предпринимает перемещаемое лицо (Лисицын 2017:23). Согласно данной классификации, мигранты подразделяются на трудовых, образовательных, культурных, служебных, семейных и вынужденных. Это разделение является базовым и может быть дополнено иными критериями, важными для конкретного исследования: например, является мигрант внутренним или внешним, или какова гендерная принадлежность мигранта. Что касается критериев легальности, долгосрочности и некоторых других, то их трудно эмпирически операционализировать, поскольку эти характеристики часто меняются в ходе миграционного процесса (легальный мигрант может стать нелегальным, краткосрочная миграция превращается в долгосрочную, и т. д.). Приведенная классификация представляется наиболее обоснованной для эмпирического исследования миграции, так как она предлагает эмпирический критерий фиксации целей мигрантов — их формальные и неформальные практики.

Для определения методологических рамок изучения современной миграции, предлагаемых в настоящей статье, необходимо определить соотношение «миграционного процесса» и понятия транснационализма. При этом мы исходим из того, что транснациональный характер миграции влияет на миграционный процесс в его целостности. Осуществление действий по выезду из страны, определение места

и региона иммиграции, само пребывание на территории принимающего государства, принятие решения о возвращении или о том, чтобы остаться, принятие гражданства (в сочетании с возможностью двойного гражданства) — все эти обстоятельства определяются, в том числе, и тем, является ли миграция транснациональной или нет. Транснациональный подход к исследованию миграции допускает «продление» миграционного процесса после его формального завершения при наличии неформальных транснациональных практик: с принятием гражданства принимающей страны миграционный процесс не обязательно заканчивается, если имеют место постоянные поездки на Родину, общение с родственниками, политическое участие в жизни отправляющего сообщества и т. д. В рамках данной статьи мы остановимся на одной составляющей транснациональных миграционных процессов, а именно, на транснациональных практиках мигрантов в принимающем обществе.

Понятие «транснациональные практики»

Термин «транснациональные практики» требует дополнительного пояснения. Транснационализм, как явление, рассматриваемое с позиций перспектив научных исследований, может являться рамочной структурой для описания очень разных ситуаций. С одной стороны, транснационализм может фокусироваться на очень специфических явлениях, присущих небольшому количеству мигрантов, как, например, институционализируемая принадлежность к «общинам / общностям» (*commonalities and communities*), где люди однозначно идентифицируют себя как членов определенной социальной структуры, существующей вне рамок национальных государств. Чувство принадлежности к этому транснациональному сообществу может поддерживаться общими механизмами формирования всякого воображаемого сообщества (язык, религиозная специфика, метафизы об общем происхождении и пр.), а также благотворительной деятельностью, регулярными встречами по принципу этнической общности (например, в землячествах), безадресной взаимной помощью, профессиональными связями и пр. Такого рода активность является следствием функционирования социальных фактов, которые имеют надындивидуальный характер (Андерсон 2016). С другой стороны, транснационализм может включать в себя менее специфические явления, которые присутствуют в индивидуальном опыте почти всех внешних мигрантов (а также

многих внутренних мигрантов, перемещающихся в границах одного государственного образования). Например, мигранты возвращаются «домой» на праздники, поддерживают многочисленные личные связи с родственниками в других странах, отправляют индивидуальные денежные переводы, которые являются основой домашнего хозяйства, смотрят телевизионные программы и интернет-каналы страны исхода, изобретают новые культурные формы, объединяющие элементы культур стран исхода и прибытия¹, продолжают активно использовать свой первый язык и т. д.

Таким образом, перед любым исследователем миграции возникает серьезная проблема. С одной стороны, он опирается на широко цитируемое утверждение Л. Склер: «Транснациональные практики — это и гайки, и болты, и клей, которые удерживают систему вместе» (“transnational practices are then uts and bolts and the glue that hold the system together”) (Sklair 1991:75). Транснационализм (и понятие транснациональных практик, в частности) уже давно не является маргинальным подходом, и его терминология активно используется в качестве ключевых слов для пропуска на международные конференции². С другой стороны, транснациональные исследования не образуют единый комплекс и не укладываются в одну исследовательскую парадигму. Фактически, мы сталкиваемся с конгломератом теорий, который приспосабливается учеными из разных стран к изучению собственной ситуации, но не в смысле концептуальной адаптации, а в попытках поглотить и подстроить под конкретную концепцию собственный эмпирический материал.

С нашей точки зрения, одинаково бесперспективным является как отождествление практик с институтами (например, «практики денежных переводов как транснациональный институт»), так и квазиантропологическая «атомизация» всякой деятельности (например, «уборка в съемной квартире как практики транснационализма»).

Транснациональные практики понимаются нами как типичные (повседневные для данного типа мигрантов) институционализованные

¹ Хорошим примером в данном случае выступают работы: (Eve 2002, 2008), посвященные исследованиям миграции румын и марокканцев в Италию. Особого внимания заслуживают описываемые автором процессы объединения элементов марокканской / румынской и итальянской кухни.

² См., например: секция Международной социологической ассоциации ISA Toronto, July 2018: *Ethnographies of Transnationalism, Displacement and Belonging: The Intersections of Lifestyle Migration/Residential Tourism and Urban Transformation*.

формы социальной активности,³ которые позволяют мигрантам одновременно участвовать в социальной жизни страны исхода и принимающего общества, благодаря нахождению в транснациональном состоянии⁴. К транснациональным практикам, как уже отмечалось, относятся визиты на родину, денежные переводы, гражданское участие в жизни страны исхода (формальное и неформальное), формы взаимодействия с друзьями и родственниками в стране исхода и иные явления. При этом в рамках исследования транснациональных практик нас в первую очередь будет интересовать, как именно выполняются все эти действия, какова их типичная форма и последовательность, какие именно социальные и материальные ресурсы задействуются для их выполнения.

Социология повседневности как методологическая «рамка» для изучения транснационализма

Сформулированное выше определение транснациональных практик является результатом обращения к социологии повседневности, которая, с нашей точки зрения, является одной из наиболее естественных «рамок» для социологического исследования транснационализма. Теоретический сдвиг от национальных государств и формальных институтов к транснациональным процессам часто предполагает анализ неформальных практик и повседневных взаимодействий транснациональных мигрантов, как в принимающем обществе, так и в стране исхода. В современной социологии можно фиксировать сдвиг к исследованиям повседневной жизни. Так, П. Штомпка пишет о становлении новой парадигмы в социологии — «социологии социального существования» или «третьей социологии», пришедшей вслед за «первой социологией» социальных организмов и систем и «второй социологией» поведения и действия (Штомпка 2009). Центральным

³ В определении форм мы склоняемся к идеям Г. Зиммеля о формах социации как структурах, возникающих на основе взаимного влияния индивидов, групп и чужаков (Громов, Мацкевич, Семёнов 1996). Таким образом, всякая индивидуальная активность в том или ином смысле интерпретируется как часть групповой формы взаимодействия.

⁴ В данном случае мы отчасти примыкаем к сформулированным в: (Ritzer 1993; Wasko, Phillips, Meehan 2001) определениям, однако, расширяем их через включение транснационализма как причинно-следственной петли (causal loop) воспроизводства повседневных практик. Как мы стремимся показать, транснационализм является движущей силой и каузальным фактором, при этом не может существовать вне повседневности мигрантов.

для социологического объяснения повседневности, согласно аргументации автора, является концептуализация социальных взаимодействий: повседневная жизнь конституируется рутинными взаимодействиями в социальных контекстах. При этом структурные и культурные факторы должны быть «переведены» на «язык повседневных миров» — в данном случае повседневных миров транснациональных мигрантов. Повседневность при этом рассматривается как специфическая комбинация социальных отношений с размытыми границами. Повседневные миры (характеризуемые различными структурами взаимоотношений) изолированы друг от друга не из-за внутренних свойств, но по причине особой констелляции отношений. Так, например, мигранты-рабочие взаимодействуют друг с другом, с властями (полицией), представителями принимающего общества совершенно различным образом. Опираясь на положения «третьей социологии», мы утверждаем, что практики тогда и только тогда могут являться транснациональными, когда они сами формируют транснационализм (как феномен) и одновременно способствуют/подчиняются его воспроизводству через институционализацию повседневности (в этом случае практики уже переходят в исследовательскую парадигму).

Таким образом, социология повседневности представляется оптимальной концептуальной рамкой для исследования транснациональных практик, которые сами являются одной из разновидностей повседневных практик. Социология повседневности позволяет поставить вопрос о том, как именно транснационализм существует в повседневной жизни мигрантов, какие свойства их повседневности способствуют (или препятствуют) воспроизводству транснациональных практик. Кроме того, в рамках социологических исследований повседневности особое внимание уделяется структуре социальных связей людей и соответствующих им повседневных взаимодействий, что позволяет учитывать взаимное влияние транснациональных практик (включая типичные формы общения) и содержательные (смысловые, эмоциональные) стороны социальных взаимодействий мигрантов.

К социологии повседневности примыкает еще один исследовательский поворот, важный для определения концептуальных рамок исследования транснациональной миграции. Исследование повседневных практик и взаимодействий часто предполагает ответы на вопросы, каковы механизмы поддержания социальных связей и общностей и почему к одним практикам люди стремятся, а других — избегают. Здесь на первый план выступает социология эмоций. Истоки социологии

эмоций можно обнаружить в работах классиков социологии (Barbalet 1998), однако как отдельное направление она возникает в середине 1970 х гг. Сегодня она активно развивается и представляет набор конкурирующих и взаимодополняющих теоретических подходов без доминирования какой-либо одной теории (Flam 2005). Значительная часть ее теоретических подходов ориентируется на осмысление эмоций как «двигателя» и результата социальных взаимодействий (Turner 2009; Collins 2004).

Заключение

Социология повседневности и социология эмоций как ее раздел позволяет подойти к ответу на многие эмпирические «загадки», связанные с исследованием миграции. Почему низкоквалифицированные (а иногда и высококвалифицированные) трудовые мигранты, несмотря на тяжелые условия труда, не испытывают недовольства? Почему подавляющее большинство из них стремится вернуться на родину? Кто именно уезжает, а кто остается? Какими путями происходит поиск работы и жилья? Почему трудовые мигранты много говорят по мобильному телефону, с кем и о чем? Для ответа на эти вопросы недостаточно зафиксировать культурные, экономические, национальные характеристики мигрантов — требуется анализ социальных связей и повседневных практик мигрантов в их целостности, как на родине, так и в принимающей стране, в том числе, — с другими мигрантами. Концепция транснационализма в приложении к исследованиям повседневных взаимодействий мигрантов дает такую возможность.

Источники

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма :пер. с англ./ Б. Андерсон. — вступ. ст. С. П. Баньковской. — М.: Кучково поле, 2016.— 416 с.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. — СПб: «Ольга», 1996. — 286 с.

Коллиер П. Исход. Как миграция изменяет наш мир: пер с англ. / П. Коллиер. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.

Лисицын П. П. Границы и содержание миграционного процесса: теоретическое определение и операционализация объектов миграционных

исследований // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017. — № 1. — С. 11–28.

Резаев А. В., Стариков В. С., Трегубова Н. Д. Сравнительная социология: общая характеристика и перспективы развития // Социологический журнал. — 2014. — № 2. — С. 89–113.

Резаев А. В. Сравнительные миграционные исследования на постсоветском пространстве: актуальные вопросы и перспективы развития (вступительная статья приглашенного редактора) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017. — № 7. — С. 1–10.

Скворцов Н. Г. Трудовая миграция в современной России: этническое измерение социального неравенства // Современные проблемы исследований транснационализма и миграции: сб. науч. тр. / Под ред. П. Кивисто, А. В. Резаев. — СПб., 2015. — С. 16–21.

Степанов А. М. Транснациональный подход в современных миграционных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2018. — Сер. 12, Вып. 1. — С. 116–127.

Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии: пер. с англ. // Социологические исследования. — 2009. — № 8. — С. 3–13.

Юдина Т. Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов — М.: Академический проект, 2006. — 272 с.

Barbalet J. Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach — Cambridge University Press, 1998. — ix+210 p.

Collins R. Interaction Ritual Chains — Princeton University Press, 2004. — 464 p.

Eve M. Is friendship a sociological topic? // Archives européennes de sociologie. — 2002. — № 3. — DOI: 10.1017/S0003975602001157.

Eve M. Some sociological Bases of transnational Practices in Italy // Revue européenne des migrations internationales [Enligne]. — 2008. — Vol. 24. — [Ressource électronique]. — URL: <http://journals.openedition.org/remi/4522>.

Flam, H. Introduction/Emotions and Social Movements / Ed. by H. Flam, D. King. — 2005. — P. 1–18.

Malik K. The Failure of Multiculturalism: Community Versus Society in Europe // Foreign affairs (Council on Foreign Relations). — 2015. — 94 (2). — P. 2132.

Ragin C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies — Berkeley: University of California Press, 1989. — 185 p.

Ritzer G. The McDonaldisation of society — Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1993.

Sklair, L. Sociology of the global system — Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1991.

Smelser N. On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology // *International Sociology*. — 2003. — 184(4). — P. 643–657.

Turner, J. H. The Sociology of Emotions: Basic Theoretical // *Emotion Review*. — 2009. — Vol. 1, No. 4. — P. 340–354.

Wasko J., Phillips M., Meehan E. R. Dazzled by Disney: The Global Disney Audiences Project — London: Leicester University Press, 2001.

References

Anderson B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob isto-kah irasprostraneniі nacionalizma: per. s angl./ B. Anderson; vstup. st. S. P. Ban'kovskoj. — M.: Kuchkovo pole, 2016.— 416 s.

Barbalet J. Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach — Cambridge University Press, 1998. — ix+210 p.

Collins R. Interaction Ritual Chains — Princeton University Press, 2004. — 464 p.

Eve M. Is friendship a sociological topic? // *Archives européennes de sociologie*. — 2002. — № 3. — DOI: 10.1017/S0003975602001157.

Eve M. Some sociological Bases of transnational Practices in Italy // *Revue européenne des migrations internationales* [Enligne]. — 2008. — Vol. 24. — [Ressource électronique]. — URL: <http://journals.openedition.org/remi/4522>.

Flam, H. Introduction / Emotions and Social Movements / ed. by H. Flam, D. King — 2005. — P. 1–18.

Gromov I., Mackevich A., Semenov V. Zapadnaya teoreticheskaya sociologiya — SPb: «Ol'ga», 1996. — 286 s.

Kollier P. *Iskhod.* Kak migraciya izmenyaet nash mir: per s angl. / P. Kollier. — M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2016.

Lisicyn P. P. Granicy i sodержanie migracionnogo processa: teoreticheskoe opredelenie i operacionalizaciya ob'ektov migracionnyh issledovanij // *Monitoring obshchestvennogo mneniya: EHkonomicheskie i social'nye peremeny*. — 2017. — № 1. — S. 11–28.

Malik K. The Failure of Multiculturalism: Community Versus Society in Europe // *Foreign affairs (Council on Foreign Relations)*. — 2015. — 94(2). — P. 2132.

Ragin C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies — Berkeley: University of California Press, 1989. — 185 p.

Rezaev A. V. Sravnitel'nye migracionnye issledovaniya na postsovet'skom prostranstve: aktual'nye voprosy i perspektivy razvitiya (vstupitel'naya stat'ya

priglasennogo redaktora) // Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny. — 2017. — № 7. — S. 1–10.

Rezaev A. V., Starikov V. S., Tregubova N. D. Srovnitel'naya sociologiya: obshchaya karakteristika i perspektivy razvitiya // Sociologicheskij zhurnal. — 2014. — № 2. — S. 89–113.

Ritzer G. The McDonaldization of society — Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1993.

Shtompka P. V fokuse vnimaniya povsednevnyaya zhizn'. Novyj povorot v sociologii: per. s angl. // Sociologicheskie issledovaniya. — 2009. — № 8. — S. 3–13.

Sklair, L. Sociology of the global system — Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1991.

Skvorcov N. G. Trudovaya migraciya v sovremennoj Rossii: ehtnicheskoe izmerenie social'nogo neravenstva // Sovremennye problem issledovanij transnacionalizma i migracii: sb. nauch. tr. / Pod red. P. Kivisto, A. V. Rezaev. — SPb., 2015. — S. 16–21.

Smelser N. On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology // International Sociology. — 2003. — 184(4). — P. 643–657.

Stepanov A. M. Transnacional'nyj podhod v sovremennyh migracionnyh issledovaniyah // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. — 2018. — Ser. 12, Vyp. 1. — S. 116–127.

Turner, J. H. The Sociology of Emotions: Basic Theoretical // Emotion Review. — 2009. — Vol. 1, No. 4. — P. 340–354.

Wasko J., Phillips M., Meehan E. R. Dazzled by Disney: The Global Disney Audiences Project — London: Leicester University Press, 2001.

Yudina T. N. Sociologiya migracii: Uchebnoe posobie dlya vuzov — M.: Akademicheskij proekt, 2006. — 272 s.

Н. Д. ТРЕГУБОВА, В. С. СТАРИКОВ

СЕТЕВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДХОДОВ

Целью представленной статьи выступает изложение предварительных результатов теоретического анализа того, каким образом распространение цифровых технологий и онлайн-взаимодействий меняет исследовательскую перспективу при анализе экстремистской активности транснациональных мигрантов. Авторы представляют обзор новейших исследований в области «расширенного цифрового транснационализма» в целом и идеологической радикализации транснациональных мигрантов, в частности, анализ виртуальных / цифровых диаспор, транснациональных онлайн-сообществ, онлайн-экстремизма и др. Утверждается, что анализ сетевых онлайн-пространств взаимодействий транснациональных мигрантов позволяет выделить обобщенные сетевые траектории мигрантов, которые могут быть увязаны, в том числе, с их участием в экстремистской деятельности. В заключение делается вывод о перспективах исследований «транснационализма онлайн» и «экстремизма онлайн» в современной социальной науке.

Ключевые слова: транснационализм, миграция, экстремизм, идеологическая радикализация, онлайн.

Введение

В современном мире с распространением цифровых технологий все большая часть человеческой активности происходит в онлайн-пространстве. Цель настоящей статьи – рассмотреть, каким образом данные трансформации меняют исследовательскую перспективу в одной проблемной области — при анализе идеологической радикализации транснациональных мигрантов.

Прежде всего, рассматриваются характеристики феномена «расширенного цифрового транснационализма» и основных направлений его изучения. Затем обсуждается «оборотная сторона» транснациональной миграции — экстремистская активность мигрантов, которая, в значительной степени, реализуется в онлайн-пространстве. Обращается внимание на соотношение «традиционных» исследований экстремизма в сравнении с анализом сетевых траекторий идеологической радикализации. В заключение делается вывод о перспективах исследования

онлайн-активности транснациональных мигрантов в целом и их экстремистской деятельности, в частности.

«Расширенный цифровой транснационализм» и сетевое взаимодействие мигрантов

В 1990-е гг. в научной литературе возникает новый подход к пониманию миграционных процессов, который смещает фокус анализа от дихотомии «страна исхода — страна приезда» в пользу перспективы транснационализма (GlickSchiller, Basch, SzantonBlanc 1995). Транснациональный подход возникает в ответ, с одной стороны, на критику теорий ассимиляции, с другой — на неудачу проекта мультикультурализма, и представляет собой попытку зафиксировать новые характеристики миграционных процессов в эпоху глобализации (Костенко 2014; Степанов 2018). Транснационализм определяется как «процесс, посредством которого мигранты формируют и поддерживают многоцелевые социальные отношения, связывающие между собой страны их происхождения и проживания» (Basch, Glick-Schiller, SzantonBlanc 1994: 7). Миграция рассматривается как динамичный процесс, охватывающий различные национальные и глобальные географические и культурные связи и политические сети, а также структурные возможности; с этой точки зрения, переселенцы описываются как трансмигранты (Faist 2000, GlickSchiller, Basch, SzantonBlanc 1995), а их мульти-территориальное поведение — как «глокальное» (glocal) или «транслокальное» (translocal) (Giulianotti, Robertson 2007; Portes, Rumbaut 2001).

Соотношение локального и глобального, равно как и разграничение взаимодействий, связанных со страной исхода, страной пребывания и транснационализмом — одна из важнейших концептуальных проблем в исследованиях миграции. Одно из наиболее перспективных направлений анализа этих взаимодействий — изучение делокализованного сетевого пространства взаимодействия, всемирной паутины (WWW)¹. Современные технологии формируют онлайн-пространство, превосходящее территориальные ограничения. Сегодня все больший объем научных исследований направлен на изучение взаимосвязи между технологиями и миграционными процессами (Brinkerhoff 2005, 2006; Diminescu 2008; Everett 2009). В научной литературе появились такие

¹ Авторы не определяют WWW, интернет, онлайн в качестве синонимов. В данном тексте это скорее метонимический троп.

термины как «транснациональные онлайн-сообщества», «виртуальные/цифровые диаспоры», «этническая онлайн-общественность», «онлайн-мигранты» (Axel 2004; Brinkerhoff 2009; Diminescu 2008; Swaby 2013; Kissau, Hunger 2010) и пр. Анализ сетевых взаимодействий транснациональных мигрантов позволяет выделить типичные сетевые траектории мигрантов, которые, предположительно, соответствуют типичным² миграционным траекториям и отчасти формируют их. Под сетевыми траекториями понимаются изменения совокупности сетевых практик пользователя во времени, причем для транснациональных мигрантов сетевые практики будут транснациональными. Данное исследовательское направление может быть обозначено как анализ «расширенного цифрового транснационализма»³ / «транснационализма онлайн» (Starikov, Ivanova, Nee 2018).

Исследования транснациональной миграции через анализ сетевой активности мигрантов могут быть сгруппированы в несколько предметных областей:

1) Исследователи обращаются к тому, как всемирная паутина содействует укреплению идентичностей, дает возможность удаленным друг от друга людям мобилизоваться, публично выражать свою идентичность и солидарность, обмениваться материальными благами и участвовать в транснациональной деятельности — политической, экономической и социально-культурной (Adamson 2012). Новые информационные тех-

² В данном случае «типичный / типический» отсылает читателя не только к социальным фактам, но, более точно, к их расширенной трактовке в виде типов фактического существования социальности. Исходная операционализация наследует опыт Э. Дюркгейма (см. «Самоубийство: социологический этюд» и «Элементарные формы религиозной жизни»). Под «типичной миграционной траекторией» мы понимаем не столько индивидуальную модель поведения, сколько социальное пространство, ограничивающее индивидуальные действия мигранта и одновременно детерминирующее его самоопределение. Следует также оговориться, что мы концентрируемся на социальных фактах *транснационализма*, и по этой причине выводим из поля зрения некоторые кейсы (например, массовое убийство в Керченском политехническом колледже или стрельба в Таузанд-Оукс 2018 г.)

³ Концепция «расширенного цифрового транснационализма» (“digital extended transnationalism”) предлагает рассматривать феномен миграции не как индивидуальное или коллективное действие (например, как простое перемещение в пространстве), но как процесс обретения расширенной идентичности, которое не может быть сформировано вне транснациональной миграции. В этом заключается принципиальное отличие, которое позволяет выделять транснациональных мигрантов в отдельный тип. Мы пытаемся показать, что повседневное использование онлайн-пространств является не заменой, но существенным расширением транснационального подхода как феномена и как предмета социального анализа.

нологии являются важным инструментом для создания связей между мигрантами, представителями гражданского общества и политиками (Newland 2010). Как было показано в ряде работ, эти связи оказывают влияние на традиционные социальные взаимодействия и могут способствовать появлению отдельного сообщества онлайн-мигрантов (Brinkerhoff 2009; Diminescu 2008; Swaby 2013).

2) Другие авторы сосредотачиваются на изучении формирования коллективных идентичностей, социально-психологических аспектов миграции, политической вовлеченности. Так, исследования показали, что диаспоры часто используют социальные медиа для создания своеобразной публичной сферы поддержки во время процесса интеграции или заполнения «социальной пустоты», возникающей при перемещении в другую страну (Diminescu 2012; Ridings, Gefen 2004). Также признается значение онлайн-сетей как своеобразного «безопасного пространства» (safespace) для социального взаимодействия, где мигранты могут обсуждать свое самосознание и выражать собственные гибридные идентичности (Brinkerhoff 2009; Swaby 2013).

3) Довольно популярным направлением является изучение социально-психологических аспектов сетевой активности мигрантов. В подобных исследованиях подчёркивается роль всемирной паутины как носителя коллективной памяти, а также ее роль как активного пространства для реконструирования образа страны исхода и собственной идентичности, которое сопровождается переживаниями травмы, стыда, отрицания, замещения (Bernal 2013; Estévez 2009). Утверждается, что новые информационные технологии изменяют опыт миграции путем формирования (онлайн) ностальгии, которая обеспечивает чувство принадлежности и близости со страной исхода (Estévez 2009). Здесь ностальгия понимается как тоска по дому, который больше не существует или никогда не существовал (Boym 2001).

4) Новые информационные технологии также активно изучаются в связи с их ролью в трансграничной политической мобилизации (Brinkerhoff 2009), конфликтах и гражданских войнах (Brinkerhoff 2006). Например, в работе о тибетской буддийской молодежи показано, как они используют новые медиа для построения глобальных сетей для реконструирования образа правительства Китая как врага (Drissel 2008). Те же самые средства используются для формирования структуры транснационального общения между китайской диаспорой и ее материком, а также для формирования благоприятного национального имиджа «нового Китая» (Ding 2007).

Таким образом, всемирная паутина способствует формированию онлайн-площадок, которые имеют важные последствия для поведения мигрантов в принимающем обществе.

Развитие информационных технологий ставит ряд новых концептуальных вопросов о роли диаспор, групп, организаций, социальных фигураций. Может ли этническая принадлежность и идентичность конституироваться через транснациональное «воображаемое сообщество» (Андерсон 2001)? Как показал Б. Андерсон, распространение таких средств коммуникации, как массовая литература и печатные газеты, ставшее возможным благодаря коммерциализации технологии книгопечатания и появлению «печатного капитализма» (printcapitalism), сыграло важнейшую роль в подъеме европейского национализма, дав индивидам реальную возможность идентифицироваться с «воображаемым сообществом» нации, находящемся с ними в едином времени и пространстве. Меняется ли природа «воображаемых сообществ» в ситуации, с одной стороны, усиления транснациональных взаимодействий, а с другой — с появлением новых общедоступных средств коммуникации, таких как интернет и социальные сети? С методологической точки зрения, данная ситуация ставит вопросы: какие подходы и методы пригодны для изучения цифровых диаспор и появления глобальных транснациональных сообществ? Каковы образы новые формы демаркации «местного», «национального» и «транснационального», и как их следует учитывать при проведении научных исследований? Что происходит с отношением людей к национальным государствам, когда они приобретают транснациональную идентичность?

Транснационализм, экстремизм и WWW

Транснационализм не является имманентным состоянием и не обязательно присутствует в миграционном процессе. Кроме того, он может оказывать разное влияние (позитивное или негативное) на процессы социального взаимодействия, способствовать как интеграции, так и изоляции. Транснационализм может принимать разные формы и иметь различные эффекты, одним из которых выступает кардинальная смена идентичностей, идеологическая радикализация и участие в экстремистской деятельности. В последние годы внимание к взаимодействию мигрантов определяется не только академическим интересом, но и существенными рисками, связанными с распространением международного терроризма и экстремизма. Концепция транснациона-

лизма показывает свою эффективность в исследовании международной миграции, поскольку учитывает неопределенность и двойственность положения мигранта, который одновременно находится на принимающей территории, но сохраняет связи со страной исхода («здесь и там»). Концепция транснационализма онлайн особенно эффективна для изучения международного терроризма, поскольку принимает во внимание, что социальное взаимодействие в поле экстремистской деятельности осуществляется и соотносится с акторами за пределами страны исхода и принимающей страны («здесь, там и где-то еще»).

Для России проблема исследования взаимосвязи экстремизма и миграции является весьма актуальной. Крупнейшие миграционные потоки на территории России происходят из стран, жители которых являются донорами террористических организаций. По данным Федерального антитеррористического комитета РФ и Центрального разведывательного управления США, в 2014–2016 гг. наблюдается рост потоков мигрантов из стран Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) и Закавказья (Азербайджан) в зоны действующих боевых конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. С другой стороны, транснациональные мигранты из стран Центральной Азии и Закавказья, работающие на территории РФ, принадлежат к числу наиболее уязвимых социальных групп с неустойчивым и неопределенным социально-экономическим положением, характеризуясь, таким образом, высоким риском идеологической радикализации. Данная проблема, однако, не является новой. К крайним случаям транснационального экстремизма (т. е. экстремизма, сформированного на почве транснационального положения) можно отнести убийство девятилетней таджикской девочки Хуршеды Султановой (2004 г.), студента Лесотехнической академии и гражданина Конго Ипассака Роланда Франдза (2005 г.), студента Санкт-Петербургского государственного университета Тимура Качаравы (2005 г.), студента Санкт-Петербургского университета водных коммуникации и гражданина Сенегала Самбы Лампсара (2006 г.), покушение на убийство Сиссоко Лилиан, теракт братьев Царнаевых на Марафоне в Бостоне (2013 г.), документированные казни российских военных выходцами из бывших республик СССР (2016–2018 г.), убийство российского посла в Турции (2016 г.), взрывы в метрополитене Петербурга (2017 г.) и др. Во всех указанных случаях обвиняемые были вовлечены в экстремистскую деятельность, с их собственных слов (или со слов организаций, берущих на себя ответственность), через онлайн-пространства.

В последнее время террористические организации еще более активно используют онлайн-пространство для координации деятельности и вербовки новых агентов. Один из вариантов развития сетевой траектории — это идеологическая радикализация. Непосредственно экстремистская деятельность осуществляется с помощью шифрованных каналов коммуникации (в основном посредством пиринговых сетей), однако ее косвенные индикаторы можно определить и с помощью анализа общедоступного публичного сегмента интернета. Перед исследователями встают вопросы о том, каковы механизмы вовлечения мигрантов в экстремистскую деятельность в сетевом пространстве, какие именно сетевые траектории приводят мигранта к идентичности экстремиста и экстремистским практикам, а также на каких этапах сетевого взаимодействия перед мигрантом встаёт выбор между активным вовлечением и отказом от экстремистской деятельности. Экстремистская деятельность ограниченного числа людей (в том числе — транснациональных мигрантов) предстает как «верхушка айсберга» по отношению к тем, кто начинал движение по экстремистским сетевым траекториям, но, по некоторой причине, остановился, и шире — по отношению к совокупности типичных сетевых траекторий.

Однако, несмотря на то, что указанные (и многие другие) авторы обозначают связь между транснациональной перспективой, социокультурными угрозами экстремизма и новыми информационными технологиями, они не охватывают всей пространственной сложности и запутанности сетевых связей в своих эмпирических исследованиях. В большинстве исследований участников миграционного процесса в интернете используются качественные методы изучения отдельных веб-сайтов или этнографически описывают опыт. Таким образом, исследования такого рода не могут претендовать на широкий масштаб и полноту характеристик. Иллюстрацией данной методологической тенденции являются исследования таких сайтов, как Awate.com (Bernal 2013), Somalinet.com, TibetBoard (Brinkerhoff 2006, 2012), а также некоторого количества страниц и блогов MySpace (Drissel 2008). Одним из немногих проектов, которые восполняют этот пробел, является Атлас электронных диаспор (Diminescu 2012). Используя онлайн-картографические методы для построения корпусов и изучения географии и занятий диаспор, исследователи проекта исследовали 27 групп диаспор, (Ben-David 2012; Kumar 2012; Mazzuchelli 2012). Этот проект является новаторским подходом к диаспорам как гибридам электронного и физического пространств. Заметим, что корпус сайтов, исследуемых

в каждом из 27 случаев, является небольшим (300–500 единиц). Кроме того, авторы намеренно включают в сеть только те сайты, которые имеют непосредственное отношение к миграционному процессу, что значительно сужает эвристические возможности проекта для изучения социальных проблем, связанных с выявлением потенциальных угроз.

В России на сегодняшний день не существует проектов, систематически реализующих потенциал социальных наук и *datascience* для анализа транснациональных онлайн-пространств в том виде, в котором это происходит в описанном выше «западном» дискурсе. Тем не менее, ошибочным было бы утверждать, что проблема экстремистского потенциала жителей стран СНГ является новой для отечественной социальной науки. В фокусе внимания при этом оказывается в основном молодежь, которая обычно мыслится как обособленная группа, замкнутая на внутригрупповых сетях и исключенная из более широкого социального пространства. «Эксклюзивность» этой мнимой группы эксплицитно или имплицитно выводится из социально-психологических характеристик типа «внушаемости», «подверженности», «неопытности» и пр., а источником экстремистских настроений представляются либо персонализированные акторы (конкретные люди или организации), либо предельно абстрактные образования (Starikov, Ivanova, Nee 2018). Яркими примерами в данном случае выступают заголовки научных статей типа «Экстремизм в интернете», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Оправдания терроризма в СМИ» и пр.

Чем «сетевой» подход к анализу идеологической радикализации отличается от «традиционного»?

В ряде работ российских исследователей были выдвинуты гипотезы и реконструированы мотивы радикализации индивидов, в рамках которых последние не осмысляются как члены неких сформировавшихся «групп», а также приводятся оценки их вовлечения в более широкие социальные процессы (Стародубровская 2015 а, 2015 б, 2016; Васильева, Майборода, Ясавеев 2017). Сформулированные в литературе гипотезы могут служить отправной точкой для интерпретации сетевых траекторий мигрантов, однако нуждаются в переосмыслении в связи со спецификой социального контекста: данные исследования касаются экстремизма во внутренних регионах России (республиках Северного Кавказа), но не идеологической радикализации мигрантов.

Обратимся к соотношению «традиционного» и «сетевого» подхода применительно к анализу идеологической радикализации на примере исследований И. В. Стародубровской. По материалам полевой работы (интервью, а также многолетних наблюдений) на Северном Кавказе (Стародубровская 2015 а, 2015 б, 2016) исследовательница выявляет социальный механизм радикализации молодежи (Стародубровская 2015 а, 2015 б, 2016). Аномия в сочетании с межпоколенческим конфликтом порождает запрос на новые правила и нормы поведения, а также на их легитимацию в своих глазах и глазах окружающих. Исламский фундаментализм отвечает на данный запрос, а далее происходит выбор между его умеренными и радикальными формами, который в значительной степени определяется социальным контекстом: доступом к источникам информации, государственной политикой, а также прошлой историей социальных отношений, включая войны. Те, кто выбрал радикальные формы, связанные с насилием, становятся экстремистами.

Как анализ сетевых траекторий пользователей изменяет / дополняет исследовательские вопросы, поставленные в рамках классических исследований экстремизма?

Во-первых, онлайн-пространство — это один из наиболее важных источников информации об экстремизме и один из наиболее важных способов поддержания связи и координации действий в экстремистских организациях. В этом отношении исследование доступа к интернету, характера использования гаджетов, особенностей сетевого поведения различных групп, социально-демографического профиля пользователей и т. п. позволяет ответить на вопрос о том, насколько легко (технически) могут распространяться идеологии — экстремистские и конкурирующие с ними.

Во-вторых, исследования И. В. Стародубровской представляют собой кейс-стади радикализации молодежи — относительно однородной социально — в разных республиках Северного Кавказа, т. е. они привязаны к особенностям региона и структуры населения внутри него. В исследованиях сетевой активности, напротив, «социальный портрет» вовлеченных в экстремизм и их локализация являются не первоначальными характеристиками, но результатом анализа, когда выявляются, а затем интерпретируются типичные сетевые траектории. Таким образом, анализ экстремизма в сети охватывает совершенно разных акторов, с разными путями радикализации, и ключевой вопрос

как раз и состоит в том, каким образом они оказались в одном «месте» в онлайн-пространстве.

Наконец, анализ паттернов и траекторий во всемирной паутине открывает целый мир социальных отношений и взаимодействий, ссылок и переходов, который нуждается во внимательном изучении и обладает собственной каузальной силой (и притягательностью), приводящей к идеологической радикализации. Разумеется, экстремистами становятся не только через всемирную паутину, но через нее (и только через нее) — во многих случаях. Это значит, что анализ сетевых траекторий тех, кто становится экстремистами, обладает собственной ценностью, которая не сводится лишь к дополнению классических исследований экстремизма. Особое значение данная исследовательская перспектива принимает при анализе транснациональных онлайн сообществ, поскольку онлайн-среда создает особый тип транснационализма — «здесь, там и где-то еще».

Заключение

Социальная наука достигла определенных успехов в изучении онлайн-активности участников миграционного процесса в целом и их идеологической радикализации — в частности. Об этом свидетельствует появление в научной литературе концепций транснациональных онлайн-сообществ, виртуальных / цифровых диаспор, онлайн-мигрантов и др. Подобные исследования могут быть дополнением к классическим «полевым» исследованиям миграции и экстремизма; они также могут выступать в качестве самостоятельных исследовательских проектов.

Вместе с тем, сложность объекта и объем накопленного эмпирического материала позволяют утверждать, что социальные ученые еще далеки от полноценного концептуального осмысления феноменов транснационализма во всемирной паутине. Это касается как теоретической полноты, так и используемого инструментария (Starikov, Ivanova, Nee 2018). В частности, большинство исследований концентрируются на отдельных аспектах формирования де-локализованного глобального сообщества качественными методами (на примере отдельных веб-ресурсов). В связи с этим особенно перспективными представляются проекты, которые предполагают реконструкцию полного пространства сетевых взаимодействий мигрантов на основе больших массивов данных.

Источники

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001

Васильева Н., Майборода А., Ясавеев И. «Почему уходят в ИГИЛ?»: дискурс-анализ нарративов молодых дагестанцев // Социологическое обозрение. 2017. № 2. С. 54–74.

Костенко В. В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 3. С. 62–76.

Стародубровская И. В. Как бороться с радикализмом молодежи на Северном Кавказе? // Общественные науки и современность. 2015 а. № 6. С. 84–96.

Стародубровская И. В. Неформальные институты и радикальные идеологии в условиях институциональной трансформации // Экономическая политика. 2015 б. Т. 10. № 3. С. 68–88.

Стародубровская И. В. Социальная трансформация и межпоколенческий конфликт (на примере Северного Кавказа) // Общественные науки и современность. 2016. № 6. С. 111–124.

Степанов А. М. Транснациональный подход в современных миграционных исследованиях // Вестник СПбГУ. Социология. 2018. № 1. С. 116–127.

Adamson F. Constructing the Diaspora: Diaspora Identity Politics and Transnational Social Movements. In: Politics from Afar: Transnational Diasporas and Networks. New York: Columbia University Press, 2012.

Axel B. K. The Context of Diaspora // Cultural Anthropology. Volume 19, No. 1. 2004. P. 26–60.

Basch L., Glick-Schiller N., Szanton Blanc C. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. New York: Gordon and Breach, 1994.

Ben-David A. The Palestinian Diaspora on the Web: Between De-Territorialization and Reterritorialization. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Bernal V. Diaspora, Digital Media, and Death Counts: Eritreans and the Politics of Memorialisation // African Studies. Volume 72, No. 2. 2013. P. 246–64.

Boym S. The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001.

Brinkerhoff J. Creating an Enabling Environment for Diasporas' Participation in Homeland Development // International Migration. Volume 50, No. 1. 2009. P. 75–95.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas and Conflict Prevention: The Case of somalinet.com // Review of International Studies. Volume 32, No. 1. 2006. P. 25–47.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas and Governance in Semi-Authoritarian States: The Case of the Egyptian Copts // Public Administration and Development. Volume 25, No. 3. 2005. P. 193–204.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas' Challenge to Traditional Power: The Case of Tibet Board // Review of International Studies. Volume 38, No. 1. 2012. P. 77–95.

Diminescu D. Introduction: Digital Methods for the Exploration, Analysis and Mapping of E-Diasporas // Social Science Information. Volume 51, No. 4. 2012. P. 451–458.

Diminescu D. The Connected Migrant: An Epistemological Manifesto // Social Science Information. Volume 47, No. 4. 2008. P. 565–79.

Ding S. Digital Diaspora and National Image Building: A New Perspective on Chinese Diaspora Study in the Age of China's Rise // Pacific Affairs. Volume 80, No. 4. 2007. P. 627–48.

Drissel D. Digitizing Dharma: Computer-Mediated Mobilizations of Tibetan Buddhist Youth // The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations. Volume 8, No. 5. 2008. P. 79–92.

Estévez S. Is Nostalgia Becoming Digital? Ecuadorian Diaspora in the Age of Global Capitalism // Social Identities. Volume 15, No. 3. 2009. P. 393–410.

Everett A. Digital Diaspora: A Race for Cyberspace. Albany: SUNY Press, 2009.

Faist T. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford University Press, 2000.

Giulianotti R., Robertson R. Forms of Glocalization: Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North America // Sociology. 41. 2007. P. 133–52.

Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration // Anthropological Quarterly. Volume 68, No. 1. 1995. P. 48–63.

Kissau K., Hunger U. The Internet As A Means Of Studying Transnationalism And Diaspora In: R. Bauböck and T. Faist (eds) Diaspora And Transnationalism: Concepts, Theories And Methodology, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. P. 245–66.

Kumar P. Sikh Narratives: An Analysis of Virtual Diaspora Networks. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Mazzuchelli F. What Remains of Yugoslavia? From the Geopolitical Space of Yugoslavia to the Virtual Space of the Web Yugoslosphere. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Newland K. Voice after Exit: Diaspora Advocacy. In: Migration Policy Institute Report, 2010.

Portes A., Rumbaut R. Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley: University of California Press, 2001.

Ridings M., Gefen D. Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online // Journal of Computer Mediated Communication. Volume 10, No. 1. 2004.

Starikov V. S., Ivanova A. A., Nee M. L. Transnationalism Online: Exploring Migration Processes with Large Data Sets // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. No. 5. P. 213–232. 2018.

Swaby N. Digital Diaspora. In: CoHaB (Diasporic Constructions of Home and Belonging), Interdisciplinary Research Network Project, 2013.

References

Adamson F. Constructing the Diaspora: Diaspora Identity Politics and Transnational Social Movements. In: Politics from Afar: Transnational Diasporas and Networks. New York: Columbia University Press, 2012.

Anderson B. Vobrazhayemye soobshchestva. M.: Kanon-Press-TS, Kuchkovo pole, 2001

Axel B. K. The Context of Diaspora // Cultural Anthropology. Volume 19, No. 1. 2004. P. 26–60.

Basch L., Glick-Schiller N., Szanton Blanc C. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. New York: Gordon and Breach, 1994.

Ben-David A. The Palestinian Diaspora on the Web: Between De-Territorialization and Reterritorialization. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Bernal V. Diaspora, Digital Media, and Death Counts: Eritreans and the Politics of Memorialisation // African Studies. Volume 72, No. 2. 2013. P. 246–64.

Boym S. The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001.

Brinkerhoff J. Creating an Enabling Environment for Diasporas' Participation in Homeland Development // International Migration. Volume 50, No. 1. 2009. P. 75–95.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas and Conflict Prevention: The Case of somalinet.com // Review of International Studies. Volume 32, No. 1. 2006. P. 25–47.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas and Governance in Semi-Authoritarian States: The Case of The Egyptian Copts // Public Administration and Development. Volume 25, No. 3. 2005. P. 193–204.

Brinkerhoff J. Digital Diasporas' Challenge to Traditional Power: The Case of Tibet Board // Review of International Studies. Volume 38, No. 1. 2012. P. 77–95.

Diminescu D. Introduction: Digital Methods for the Exploration, Analysis and Mapping of E-Diasporas // Social Science Information. Volume 51, No. 4. 2012. P. 451–458.

Diminescu D. The Connected Migrant: An Epistemological Manifesto // Social Science Information. Volume 47. No. 4. 2008. P. 565–79.

Ding S. Digital Diaspora and National Image Building: A New Perspective on Chinese Diaspora Study in the Age of China's Rise // Pacific Affairs. Volume 80, No. 4. 2007. P. 627–48.

Drissel D. Digitizing Dharma: Computer-Mediated Mobilizations of Tibetan Buddhist Youth // The International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations. Volume 8. No. 5. 2008. P. 79–92.

Estévez S. Is Nostalgia Becoming Digital? Ecuadorian Diaspora in the Age of Global Capitalism // Social Identities. Volume 15, No. 3. 2009. P. 393–410.

Everett A. Digital Diaspora: A Race for Cyberspace. Albany: SUNY Press, 2009/

Faist T. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford University Press, 2000.

Giulianotti R., Robertson R. Forms of Glocalization: Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North America // Sociology. 41. 2007. P. 133–52.

Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration // Anthropological Quarterly. Volume 68, No. 1. 1995. P. 48–63.

Kissau K., Hunger U. The Internet as a Means of Studying Transnationalism and Diaspora In: R. Bauböck and T. Faist (eds) Diaspora And Transnationalism: Concepts, Theories And Methodology, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. P. 245–66.

Kostenko V. V. Teoriimigratsii: otassimilyatsii k transnatsionalizmu // Zhurnalsotsiologii I sotsial'noy antropologii. 2014. 17. 3. P. 62–76.

Kumar P. Sikh Narratives: An Analysis of Virtual Diaspora Networks. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Mazzuchelli F. What Remains Of Yugoslavia? From the Geopolitical Space of Yugoslavia to The Virtual Space of the Web Yugosphere. In: e-Diasporas Atlas, 2012.

Newland K. Voice after Exit: Diaspora Advocacy. In: Migration Policy Institute Report, 2010.

Portes A., Rumbaut R. Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley: University of California Press, 2001.

Ridings M., Gefen D. Virtual Community Attraction: Why People Hang Out Online // Journal of Computer Mediated Communication. Volume 10, No. 1. 2004.

Starikov V. S., Ivanova A. A., Nee M. L. Transnationalism Online: Exploring Migration Processes with Large Data Sets // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. No. 5. P. 213–232. 2018.

Starodubrovskaya I. V. Kakborot'sya s radikalizmom molodezhi na Severnom Kavkaze? // *Obshchestvennyye nauki I sovremennost'*. 2015 a. 6. P. 84–96.

Starodubrovskaya I. V. Neformal'nyye instituty I radikal'nyye ideologii v usloviyakh institutsional'noy transformatsii // *Ekonomicheskaya politika*. 2015 b. 10. 3. P. 68–88.

Starodubrovskaya I. V. Sotsial'naya transformatsiya I mezhpokolencheskiy konflikt (na primere Severnogo Kavkaza) // *Obshchestvennyye nauki I sovremennost'*. 2016. 6. P. 111–124.

Stepanov A. M. Transnatsional'nyy podkhod v sovremennykh migratsionnykh issledovaniyakh // *Vestnik SPbGU. Sotsiologiya*. 2018. 1. P. 116–127.

Swaby N. Digital diaspora. In: CoHaB (Diasporic Constructions of Home and Belonging), Interdisciplinary Research Network Project, 2013.

Vasil'yeva N., Mayboroda A., Yasaveyev I. "Pochemu ukhodyat v IGIL?": diskurs-analiz narrativov molodykh dagestantsev // *Sotsiologicheskoye obozreniye*. 2017. 2. P. 54–74.

С. А. ГЕГЕР, А. Э. ГЕГЕР

ФАКТОРЫ ЭКОАКТИВИЗМА В РОССИИ

В статье рассматриваются два фактора экоактивизма: личностный, связанный с социально-демографическими характеристиками, а также установки и ценности. Показано распространение экоактивизма как в России, так и в мире. Выявлена зависимость между экоактивизмом и уровнем образования: среди экоактивистов больше людей с высшим образованием. Установлено, что представители данной группы, в целом, лучше материально обеспечены, чем остальные участники опроса. Среди экоактивистов больше тех, кто относит себя к среднему классу, высшему среднему классу и даже к высшему классу. Лидерами экологической активности оказались Поволжье и Сибирь, которые занимают низшие строки экологического рейтинга России. В ходе исследования была подтверждена гипотеза «объективных проблем и субъективных ценностей» Р. Инглхарта: было выявлено, что экоактивисты рекрутируются, во-первых, из жителей регионов, где существуют объективные экологические проблемы, а, во-вторых, из числа жителей мегаполисов, которые демонстрируют большую приверженность постматериалистическим ценностям.

Ключевые слова: экоактивизм, ценности, материалистические ценности, постматериалистические ценности, профиль экологических активистов, объективные проблемы, субъективные ценности/

Введение

Современный этап взаимодействия природы и общества характеризуется обострившимися экологическими проблемами, которые угрожают качеству жизни и самому существованию человека. Как реакция на существующие проблемы, в обществе возрастает экологическая озабоченность, что способствует развитию экологической активности граждан. Штерн говорит о том, что все про-экологическое поведение укладывается в четыре основных типа (Stern 2000). Первый, называемый «экологическим активизмом», подразумевает активное вовлечение в экологические организации, а также участие в протестах. Второй тип — «неактивистское публичное поведение», включающее пожертвование денег экологическим организациям, подписание петиций, а также готовность платить дополнительные налоги на экологию. Следующий тип — это приватный экоактивизм, включающий экологическое поведение в быту, в обыденной жизни. Если

говорить о России, то здесь пока еще не налажен отдельный сбор мусора, а также опасных для экологии отходов (таких как батарейки и лампы). Последнее годы в нашей стране такой вид активизма становится все более заметным. Так, в Санкт-Петербурге многие жители готовы преодолеть несколько кварталов до точек отдельного сбора, а также точек сбора опасных отходов; а в выходные дни на этих точках устраивают своего рода праздники, где схожие по экологическим установкам люди встречаются и обмениваются опытом. Заключительный, по Штерну, тип экологического поведения — это принятие проэкологических решений в контексте своей профессиональной деятельности.

Ботетзагиас и соавторы выделяют ряд предикторов или факторов экологического поведения:

1) установки и ценности, а также социо-психологические предикторы

2) «контекстуальные факторы» определяются влиянием социальных институтов и, в конечном итоге, экологической политикой на уровне государства

3) личностные черты, связанные, в первую очередь, с социально-демографическими характеристиками экоактивистов

4) влияние силы привычки и рутинизация про-экологического поведения (Botetzagias et al 2017).

Существует объяснительный механизм, который связывает экоактивизм с ценностными ориентациями. Если на Западе давно уже (более 30 лет) проводятся исследования, которые выявляют связь между ценностными ориентациями и демократическим путем развития общества, ценностями и гражданской активностью людей, то применительно к России пока нет отдельных подробных исследований ценностей в контексте экоактивизма.

В настоящей статье на российских данных рассматривается влияние двух основных предикторов / факторов на про-экологическое поведение: 1) социально-демографические характеристики; 2) ценностные ориентации.

2. Методы

Основным источником данных в настоящем исследовании является база данных шестой волны Всемирного исследования ценностей (далее ВИЦ). ВИЦ — это масштабный международный проект, посвященный изучению того, как ценности, взгляды и убеждения людей изменяются

и распространяются в различных культурах. В настоящее время в этот проект включились более ста стран мира. В России в 2011 г. проводился опрос в рамках шестой волны ВИЦ. В выборку вошли люди старше 18 лет. Для всех стран выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и типу поселения.

Согласно типологии Штерна, объектом нашего исследования является группа, состоящая из двух подгрупп: 1) респонденты, которые заявляли, что за последние два года участвовали в демонстрациях в защиту экологии — это, по Штерну, истинные «экоактивисты»; 2) респонденты, которые за последние два года жертвовали деньги экологическим организациям, это, по Штерну, граждане, демонстрирующие «неактивистское публичное про-экологическое поведение». Учитывая специфику России, где проявление активной гражданской позиции — удел меньшинства, где добровольные пожертвования в пользу экологии пока не получили большого распространения, а также для единообразия стиля, мы будем называть обе эти подгруппы респондентов «экоактивистами».

Социально — демографический профиль экоактивистов строился исходя из значимых различий по сравнению с выборкой в целом. Поскольку социологическое исследование всегда использует выборку, номинальные различия значений реально существуют лишь тогда, когда различие статистически значимо (это определяется статистическими методами и средствами обработки данных). В ходе последующего анализа учитываются только значимые различия. В нашем случае значимость различий определялась согласно z -критерию Фишера. Также, согласно критерию Фишера, выявлялись различия в количестве экоактивистов в странах при межстрановом сравнении.

Для оценки влияния различных факторов на принадлежность к экоактивистам был использован множественный регрессионный анализ. В качестве критерия нами была выбрана принадлежность к экоактивистам, то есть это к тем людям, которые либо участвовали в демонстрациях в защиту экологии, либо жертвовали деньги экологическим организациям. В качестве предикторов были выбраны такие переменные как размер города, образование, возраст респондента, пол респондента, доход и принадлежность к социальному классу, а также ценности — материалистические / постматериалистические. Был применен «прямой» метод регрессионного анализа, при котором последовательно отбрасываются незначимые предикторы и в итоге остается регрессия, которая рассматривается как оптимальная модель.

3. Результаты

Распространение экоактивизма в России и в мире

В первую очередь остановимся на распространенности феномена про-экологической деятельности как в целом в мире, так и отдельно в России. Данные по 60 странам позволяют сравнить процентные доли про-экологически активного населения и проранжировать страны по этому показателю (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг стран по количеству экоактивистов (в процентах)

Среднее значение по миру: 16,5%							
№	Выше среднего по миру: ТОП-10		Соответствует среднему: ТОП-10		№	Ниже средне-мирового: ТОП-10	
		%		%			%
1	Индия ($p = 0,0000$)*	51,4	Таиланд ($p = 0,3210$)	18,7	1	Бразилия ($p = 0,0069$)	12,7
2	Гонконг	44,4	Словения	18,4	2	Уругвай	12,4
3	Швеция	40,2	Кипр	18,1	3	Испания	12,2
4	Нидерланды	32,4	Руанда	17,9	4	Япония	12,0
5	Австралия	30,5	Кыргызстан	17,7	5	Эквадор	11,3
6	Новая Зеландия	27,7	Бахрейн	17,6	6	Алжир	10,7
7	Ливан	25,3	Южная Корея	17,2	7	Грузия	10,6
8	Мексика	24,7	Южная Африка	17,0	8	Гана	10,1
9	Перу	24,5	Тайвань	16,6	9	Иордания	9,3
10	Тринидад и Тобаго ($p = 0,0000$)	24,4	Ливия ($p = 0,6307$)	16,2	21	Россия ($p = 0,0000$)	4,7

* В таблице указаны уровни значимости отличий от среднего по крайним позициям списка.

Результаты анализа, с одной стороны, не явились сюрпризом, с другой — все-таки, некоторые факты заставляют задуматься. Не стало неожиданным попадание в десятку лидеров по про-экологической активности таких стран, как Швеция, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия: если в целом по миру про-экологической деятельностью занимаются 16,5% респондентов, то в этих странах 40,2%, 32,4%, 30,5% и 27,7%, соответственно. В США про-экологически настроенных граждан больше, чем в среднем по миру, однако они находятся в конце списка стран с высокой долей экоактивистов, поскольку в США таких респондентов оказалось 20,4%. В свою очередь интересным фактом, на наш взгляд, является то, что количество экоактивистов в Кыргызстане ($p = 0,4761$) соответствует среднемировому, эта страна соседствует в списке, например, с Южной Кореей ($p = 0,9055$). Совершенно предсказуемо Россия оказалась в конце списка стран, в которых доля экоактивного населения ниже среднемирового — в нашей стране участвуют в демонстрациях в поддержку экологии и жертвуют деньги экологическим организациям всего 4,7% респондентов. Россия находится в компании таких стран как Армения (4,8%, $p = 0,9163$), Китай (4,5%, $p = 0,5992$), Марокко (4,3%, $p = 0,4574$), Йемен (3,7%, $p = 0,1543$). Значимо больше, чем в России, численность экоактивистов в Польше (7,7%, $p = 0,134$), Беларуси и в Эстонии — по 8,5% ($p = 0,0018$).

Рассмотрим распространённость экологической активности на территории России. Прежде всего, мы подчеркнем, что наша гипотеза о высокой про-экологической активности жителей столицы не подтвердилась. Традиционно именно в столице происходит львиная доля протестных акций, однако основная их повестка — политическая, проблемы экологии поднимаются не часто. Также москвичи являются лидерами «диванного» протеста — 29% всех интернет — петиций, посвященных экологической тематике подписываются москвичами (Гольбрайх 2016).

Предсказуемо лидерами по экологической активности оказались Поволжье (25,7%) и Сибирь (16,5%). Северо-Западный федеральный округ оказался на третьем месте — 11,9% (здесь респонденты преимущественно жители Санкт-Петербурга). Меньше всего экоактивистов оказалось на Дальнем Востоке (4,6%). Согласно экологическому рейтингу субъектов РФ, десять областей и краев Дальнего Востока занимают верхние строки в рейтинге наиболее благополучных в экологическом отношении регионов — это места с 10-го по 49, тогда как Самарская область находится на 77 позиции, а Нижегородская

область — на 79 строке. Хуже всего дела обстоят в Челябинской области — 82 место в рейтинге субъектов РФ¹.

Неожиданным результатом оказалось, то, что значительное количество экоактивистов проживают в небольших городах Поволжья. Это разрушает стереотипы о более высокой экологической озабоченности жителей мегаполисов. Как отмечает В. Битюкова, заведующая кафедрой экологии и природопользования Казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова, экологическое благополучие малых городов — это не более, чем миф. По ее данным, в малых городах проживает 16% городского населения страны, но в них образуется четверть всех промышленных выбросов, 19% хозяйственно-бытовых и производственных стоков от всего объема, образующегося в стране, что превышает их вклад в численность населения. Другими словами, их вклад в загрязнение больше, чем вклад в численность населения². Если говорить о Поволжье, здесь, например, печально известен город Чапаевск Самарской области, который в народе называют городом смерти; где с начала XX века производились отравляющие вещества. Согласно недавнему исследованию РБК, Чапаевск — лидер по убыли населения в ПФО среди малых городов — к 2015 году население города сократилось на 26,1%³.

Профиль экологических активистов в России

Согласно Ботетзагаиз и соавторам, индивидуальные социально-демографические характеристики влияют на занятия про-экологической деятельностью (Botetzagias et al 2017). Выявить профиль экологических активистов, выяснить, какие из всего набора социально-демографических характеристик влияют на экоактивизм — составляет одну из задач нашего исследования.

Как показали результаты анализа, различий по полу выявлено не было: среди экоактивистов, принимающих участие в опросе, 46% составляют мужчины и 54% — женщины. Это соотносится с данными европейских исследований: европейским коллегам также не удалось определить, влияет ли пол респондентов на их склонность к эко-

¹ Экологический рейтинг субъектов РФ Зеленый патруль. [Электронный ресурс]. URL: http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskij-reyting-subektov-rf?tid=230&order=field_nature&sort=desc (дата обращения 21.03.2018).

² Экологические проблемы малых городов. Постнаука. [Электронный ресурс]. URL: <https://postnauka.ru/faq/31212> (дата обращения 21.03.2018).

³ Другой город. [Электронный ресурс]. URL: <http://drugoiгород.ru/chapaevsk-15/> (дата обращения 21.03.2018).

активизму (Tindall, Davies & Mauboules 2003) Вместе с тем, пока здесь нет однозначного мнения. Так, Мохай говорит о том, что чаще всего мужчины активнее женщин высказывают **публично** свои экологические установки, в то время как женщины все-таки больше обеспокоены проблемами экологии (Mohai 1992).

Среди изучаемой группы характерно более высокое представительство молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Если в целом по выборке таких 22,7%, то среди активистов — уже 27,5% ($p = 0,0104$). Европейские же коллеги связи между возрастом и склонностью к экоактивизму не обнаружили.

Также среди экоактивистов оказалось значимо больше людей с высшим образованием: если в целом по выборке таких респондентов 25,9%, то среди изучаемой группы их доля составляет 38,5% ($p = 0,0054$). Эти данные соотносятся с данными европейских исследований: об уровне образования как о значимом детерминанте экоактивизма пишут такие авторы, как Олофсон и Оман, а также Фреймейер и Джонсон (Oloffson and Ohman 2006; Freymeyer & Johnson 2010).

Также вполне ожидаемо выяснилось, что представители данной группы в целом лучше материально обеспечены, чем остальные участники опроса: наиболее обеспеченных среди них в два раза больше, чем в целом по выборке — 20,4% против 9,2% ($p = 0,0070$). И здесь ситуация в России схожа с европейской: зарубежные авторы пишут о том, что более стабильные в финансовом отношении люди чаще участвуют в про-экологической деятельности, а если говорить об обеспеченных людях, то они более охотно жертвуют деньги в пользу экологии. Вместе с тем отдельные авторы отмечают, что такое поведение не характерно для молодежи (Greenspan et al. 2012).

Не оправдалась наша гипотеза о том, что в исследуемую группу рекрутируются в основном жители мегаполисов. Наша гипотеза основывалась как на отечественных исследованиях (Гольбрайх 2016), так и на зарубежных (Freymeyer & Johnson 2010). Согласно данным этих исследований, жители сельских поселений и малых городов значительно реже жертвуют деньги на экологию и подписывают петиции и ещё реже участвуют в демонстрациях в поддержку экологии. Однако, согласно нашим данным, москвичей среди экоактивистов меньше, чем по выборке в целом (37% в целом по выборке — против 8,4% среди экоактивистов — $p = 0,0000$). Пока не представляется возможным однозначно оценить эти результаты. Возможно, как уже говорилось выше, для Москвы более актуальна политическая повестка

и «диванный» активизм, в то время как жители малых городов «лоб в лоб» ежедневно сталкиваются с экологическими проблемами, которые уносят жизни людей, как в упомянутом выше городке Чапаевске.

В исследовании задавался еще один принципиальный вопрос о субъективном отнесении респондентами себя к тому или иному социальному классу. Безусловно, этот индикатор не вполне информативен в российских реалиях, где и среди исследователей, и на бытовом уровне пока нет единой классификации и понимания, например, основных параметров такой важной страты, как «средний класс». Вместе с тем, информация в субъективных оценках респондентов также важна — в этом случае респонденты сами выступают в роли экспертов своего уровня жизни. В нашем случае среди эоактивистов значимо больше людей, относящих себя к высшему среднему классу, и даже нашлись те, кто отнес себя к высшему классу.

Ценности и эоактивизм

Весь спектр исследований взаимосвязи ценностей и эоактивизма, в первую очередь, на межстрановом уровне, берет свое начало с гипотезы «объективных проблем и субъективных ценностей», выдвинутой американским политологом и социологом Рональдом Инглхартом в 1995 году (Inglehart 1995). В своей статье он утверждает, что желание брать на себя ответственность за экологию отдельных граждан, когда они жертвуют деньги экологическим НКО, связано с двумя различными факторами: с одной стороны, с отрицательным, когда плохие условия окружающей среды приводят к росту экологической озабоченности, с другой стороны, с положительным, когда постматериалистические ценности, характерные для богатых стран или богатых регионов повышают ответственность за состояние окружающей среды.

В данном разделе мы рассмотрим, как ценности, а также иные факторы, кроме ценностей, влияют на экологическую озабоченность наших сограждан.

Для этих целей был использован множественный регрессионный анализ. В регрессионное уравнение были включены следующие предикторы: 1) ценности (материалистические / постматериалистические); 2) размер города; 3) образование; 4) возраст; 5) пол; 6) доход; 7) социальный класс. Из семи исходных предикторов в итоговой, значимой и оптимальной модели остались только три предиктора: 1) социальный класс; 2) размер города; 3) ценности. Несмотря на то, что в целом эо-

активисты более образованы и относятся к высокоресурсным группам населения, эти два предиктора — образование и доход — не оказывают существенного влияния в российских условиях. Более подробно результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Переменные в итоговом шаге регрессионного уравнения
и их уровни значимости**

Предикторы	Знач.
Социальный класс	0,000
Высший класс	0,000
Высший средний класс	0,021
Средний класс	0,000
Низший средний класс	0,514
Город	0,008
Малый город	0,000
Мегаполис	0,112
Ценности	0,012
Ценности постматериалистические	0,003
Ценности материалистические	0,588

Удалось выявить, что наибольшее влияние на экоактивизм оказывает принадлежность к среднему классу ($p = 0,000$), к высшему среднему классу ($p = 0,021$) и к высшему классу ($p = 0,000$). Принадлежность к социальному классу здесь играет ведущую роль. На втором месте — размер города, при этом удалось выяснить, что жители малых городов более склонны жертвовать деньги на экологию и участвовать в экологических демонстрациях ($p = 0,000$). На третьем месте ценности — носители постматериалистических ценностей чаще становятся экоактивистами ($p = 0,003$).

Попытаемся объяснить, как именно полученные результаты регрессионного анализа соотносятся с гипотезой «объективных проблем и субъективных ценностей» Р. Инглхарта.

Прежде всего, обратимся к другой теории Р. Инглхарта — о собственно материалистических и постматериалистических ценностях.

Американский исследователь неоднократно подтверждал свою теорию, которая состоит в том, что для жителей более богатых стран (или регионов одной страны) характерен набор постматериалистических ценностей (Инглхарт, Вельцель 2011). Следуя этой теории, можно предположить, что для жителей российских мегаполисов будет характерен уклон в постматериализм. Эту гипотезу мы проверили с помощью статистического критерия z -критерия Фишера. Удалось выяснить, что в общем и целом наблюдается одинаковое число материалистов как в столицах, так и в регионах. Вместе с тем, постматериалистов значимо больше проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Учитывая результаты регрессионного анализа, а также результаты тестирования с помощью z -критерия по выявлению материалистов/постматериалистов, мы можем сказать, что гипотеза «объективных проблем и субъективных ценностей» Р. Инглхарта в нашем исследовании в целом подтверждена. В малых городах Поволжья и Сибири налицо объективные экологические проблемы, которые подвигают жителей к активным действиям в защиту экологии. В то же время в богатых столицах больше постматериалистов, а из их рядов не в последнюю очередь рекрутируются экоактивисты.

Заключение

Из четырех основных факторов экоактивизма, которые выделяют Ботетзагаиз и соавторы, нами было рассмотрено два фактора: личностные черты, связанные с социально-демографическими характеристиками, и установки и ценности. Также нами было показано распространение экоактивизма как в России, так и в других странах.

Основные выводы нашего исследования следующие.

- подтверждена зависимость между экоактивизмом и уровнем образования: среди экоактивистов больше людей с высшим образованием.
- ожидаемо выяснилось, что представители данной группы — в целом более материально обеспечены, чем остальные участники опроса.
- среди экоактивистов больше тех, кто относит себя к среднему классу, высшему среднему классу и даже высшему классу.
- лидерами по экологической активности оказались Поволжье и Сибирь, которые занимают низшие строки экологического рейтинга России.

Множественный регрессионный анализ в целом подтвердил гипотезу «объективных проблем и субъективных ценностей» Р. Инглхарта.

В экоактивную деятельность, в первую очередь, встроены жители регионов, где существуют объективные экологические проблемы, а также жители мегаполисов, носители постматериалистических ценностей. Регрессионный анализ показал также, что, несмотря на то, что экоактивисты более образованы и относятся к более высокоресурсным группам, эти факторы не имеют решающего значения. В первую очередь на принадлежность к экоактивистам влияет социальная группа, к которой себя субъективно относят респонденты, затем влияние оказывает размер города (в малых городах на момент опроса экоактивистов оказалось больше), на третьем месте находятся — постматериалистические ценности.

Источники

Гольбрайх В. Б. Экологические общественные инициативы в Интернете как новая практика политического участия // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 340–350.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011.

Botetzagias I., Jones N., Malesios C. Petitioner, contributor, protester. The profile of Europeans performing different ‘public-sphere’ pro-environmental behaviours // Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective (Studies in European Sociology) / Ed. by Audrone Telesiene & Matthias Gross. Routledge, 2017. P. 162–183.

Frey Meyer R. H. and Johnson B E. A cross-cultural investigation of factors influencing environmental actions // Sociological Spectrum. 2010. Vol. 30, No. 2. P. 184–195.

Greenspan I., Handy F. and Katz-Gerro T. Environmental philanthropy: is it similar to other types of environmental behavior? // Organization & Environment. 2012. Vol. 25, No. 2. P. 111–130.

Inglehart, R. Public support for environmental protection: objective problems and subjective values in 43 societies // Political Science and Politics. 1995. 28 (1). P. 57–72.

Mohai, P. Men, women, and the environment: an examination of the gender gap in environmental concern and activism // Society and Natural Resources. 1992. Vol. 5, No. 1. P. 1–19.

Olofsson A., Öhman S. General beliefs and environmental concern: transatlantic comparisons // Environment & Behavior. 2006. Vol. 38, No. 6. P. 768–790.

Stern P. C. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior // *Journal of Social Issues*. 2000. Vol. 56, No. 3. P. 407–424.

Tindall, D. B., Davies S., and Mauboules C. Activism and conservation behaviour in an environmental movement: the contradictory effects of gender // *Society and Natural Resources*. 2003. Vol. 16, No. 10. P. 909–932.

References

Golbraykh V. B. Ekologicheskie obshchestvennye iniciativy v Internetе kak novaya praktika politicheskogo uchastiya // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2016. № 4 (36). S. 340–350.

Inglehart R., Welzel K. (2011) Modernizaciya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya. M.: Novoe izdatel'stvo, 2011.

Botetzagias I., Jones N., Malesios C. Petitioner, contributor, protester. The profile of Europeans performing different 'public-sphere' pro-environmental behaviours // *Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective (Studies in European Sociology)* / Ed. by Audrone Telesiene & Matthias Gross. Routledge, 2017. P. 162–183.

Frey Meyer R. H. and Johnson B E. A cross-cultural investigation of factors influencing environmental actions // *Sociological Spectrum*. 2010. Vol. 30, No. 2. P. 184–195.

Greenspan I., Handy F. and Katz-Gerro T. Environmental philanthropy: is it similar to other types of environmental behavior? // *Organization & Environment*. 2012. Vol. 25, No. 2. P. 111–130.

Inglehart R. Public support for environmental protection: objective problems and subjective values in 43 societies // *Political Science and Politics*. 1995. 28 (1). P. 57–72.

Mohai P. Men, women, and the environment: an examination of the gender gap in environmental concern and activism // *Society and Natural Resources*. 1992. Vol. 5, No. 1. P. 1–19.

Olofsson A, Öhman S. General beliefs and environmental concern: transatlantic comparisons // *Environment & Behavior*. 2006. Vol. 38, No. 6. P. 768–790.

Stern P. C. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior // *Journal of Social Issues*. 2000. Vol. 56, No. 3. P. 407–424.

Tindall, D. B., Davies S. and Mauboules C. Activism and conservation behaviour in an environmental movement: the contradictory effects of gender // *Society and Natural Resources*. 2003. Vol. 16, No. 10. P. 909–932.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

DOI: 10.25990/socinstras.pss-10.58hx-6963

Н. И. КАРБАИНОВ

ОБРАЗЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917–1920-х гг. В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ: ВЕРСИИ ЭЛИТ И МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В данной статье проанализированы образы истории революции 1917 г. и событий Гражданской войны 1918–1920-х гг., конструируемых элитами постсоветского Татарстана. Рассмотрены образы этой эпохи, существующие в массовых исторических представлениях жителей Татарстана. Революционные события 1917–1920 гг. представлены в элитарном дискурсе через призму национальной истории татар. Поэтому большое внимание при описании этих событий уделяется национальному движению татарского народа. Участникам «белых» сил в Гражданской войне даются однозначно негативные оценки из-за того, что они выступали за «единую и неделимую Россию» и не признавали прав татарского народа на национальное самоопределение. «Красные» силы оцениваются амбивалентно, но позитивные оценки преобладают над негативными оценками. Главное достижение революционных событий стало провозглашение Татарской АССР в 1920 г., что означало частичное восстановление государственности татар, которую они потеряли в 1552 году. В массовых исторических представлениях жителей Татарстана революционные события 1917–1920-х гг. выступают как одна из ключевых вех истории XX века наряду с Великой Отечественной войной и распадом СССР. В отличие от дискурса татарской элиты, в массовых представлениях революционные события 1917–1920-х гг. не связываются с национальной историей татарского народа, а рассматриваются как события общероссийского масштаба. При этом даются разнообразные эмоциональные оценки этих событий. Важную роль в формировании массовых представлений жителей Татарстана о революции 1917 г. играет общероссийская продукция массовой культуры (фильмы, художественная литература и др.), а не учебная и научно-популярная литература по истории Татарстана и татарского народа.

Ключевые слова: Татарстан; исторические представления; элиты; Революция 1917 года; Гражданская война 1918–1922 г.

Введение

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года рассматривалась в Советском Союзе в качестве одного из главных событий не только в истории страны, но и всей мировой истории. По результатам социологического опроса в 1990 году 50% советских граждан позитивно отзывались об исторической роли Октябрьской революции 1917 года (Бойков, Меркушин 2003). После распада СССР в постсоветской России произошла серьёзная переоценка исторического прошлого, в том числе истории Октябрьской революции 2017 года. Как отмечают В. Э. Бойков и В. И. Меркушин: «Во-первых, образ Ленина и значение Октябрьской революции в качестве локомотива истории в историческом восприятии существенно померкли. Во-вторых, среди представителей ряда категорий населения (молодежи, людей с высшим образованием, занятых предпринимательской деятельностью) преобладающим стало отрицательное отношение и к Ленину, и к революции» (Бойков, Меркушин 2003).

Одновременно в результате распада СССР на постсоветском пространстве наблюдается стремительное развитие национальных и региональных версий исторического прошлого как в ныне независимых государствах СНГ, так и в регионах (в первую очередь в республиках) Российской Федерации (Аймермахер, Бордюгов 1999; Бомсдорф, Бордюгов 2009; Шнирельман 2003; Миллер, Липман 2012). В рамках этих национальных и региональных версий истории создаются также собственные трактовки революционных событий 1917–1920 гг. Не является исключением в этом ряду и республика Татарстан. В последние десятилетия элиты Татарстана также активно создавали национальную историю Татарстана и татарского народа (Rorlich 1999; Исхаков 1999; Davis et al. 2000; Шнирельман 2002; Zverev 2002; Усманова 2003; Овчинников 2010; Овчинников 2015).

Цель статьи — рассмотреть образы революционных событий 1917–1920-х гг. в постсоветском Татарстане. Во-первых, анализируются образы истории революции 1917 г. и событий Гражданской войны 1918–1920-х гг., конструируемые элитами постсоветского Татарстана. Во-вторых, рассматриваются образы этой эпохи, существующие в массовых исторических представлениях жителей Татарстана. В-третьих, показывается степень влияния исторических образов революционных событий 1917–1920-х, создаваемых элитами, на исторические представления рядовых граждан республики. Эмпирическая

база исследования основана на результатах научно-образовательного проекта «"Войны памяти" и "конвенции памяти" в постсоветском Татарстане: элитарные версии исторического прошлого и массовые представления», выполненного в 2013–2014 гг. при финансовой поддержке программы развития региональных центров ЕУСПб. Версия элит рассматривается на основе анализа учебной и научно-популярной литературы по истории Татарстана и татарского народа. Массовые исторические представления проанализируются на основе материалов 170 интервью и результатов анкетного опроса, проведенного в городе Казани ($n = 1000$).

Версии элит

Создание национальной истории является одним из важнейших инструментов нациестроительства (наряду с языковой и религиозной политикой) в постсоветском Татарстане (Сагитова 1998; Rorlich 1999; Davies et al. 2000; Низамова 2001; Zverev 2002; Graney 2009; Faller 2011; Derrick 2013). Главным производителем национальной истории в Татарстане выступила татарская национальная интеллигенция при поддержке политических элит (Сагитова 1998; Davies et al. 2000; Низамова 2001; Gorenburg 2003; Понарин, Жирков 2013).

Основными производителями и трансляторами национальной истории являются Институт истории Академии наук Татарстана, Казанский федеральный университет и другие научные и учебные заведения (в том числе татарские национальные гимназии) (Alvarez Veinguer 2007; Alvarez Veinguer, Davis 2007), Министерство образования и науки РТ, издательства, музеи и т. д. (Усманова 2003; Гилязов 2003; Graney 2009). Ключевыми каналами трансляции идеологических дискурсов (включая исторические дискурсы) в массовое сознание населения республики являются СМИ (газеты, телевидение) (Сагитова 1998; Сагитова 2003; Davies et al. 2000; Низамова 2001), учебные курсы по истории в средней и высшей школе (Гибатдинов 2003; Гилязов 2003; Мухарямова, Андреева 2013), публичные места, музейные экспозиции и архитектура (Graney 2009; Faller 2011; Kinossian 2012).

Одним из важнейших принципов построения национальной идеологии в постсоветском Татарстане является балансирование между татарским этнонационализмом и гражданским национализмом («татарстанизмом») (Низамова 2001; Derrick 2009; Graney 2009; Габдрахманова, Мусина 2013). Как отмечает Л. Р. Низамова: «Новая татарстанская

идеология строится на гибкой комбинации и “сплавливании” ценностей как этнического, так и гражданского национализма» (Низамова 2001: 175). В концепции национальной истории идея балансирования между двумя национализмами воплотилась в сочетании территориального и этнического подхода при написании истории Татарстана (Хаким 1999).

Сочетание территориального и этнического подхода при написании истории нашло также отражение при описании событий Революции 1917 года и Гражданской войны 1918–1920-х годов в учебных пособиях по истории Татарстана и татарского народа. Революционные события 1917–1920 гг. рассматриваются, как правило, в региональном масштабе и через призму этнонациональной истории татар. В частности большое внимание в отличие от федеральных учебников по истории России (Кабилова 2008: 86) уделяется национальному движению татарского народа в годы революционных событий.

Нами было проанализировано три учебных пособия по истории Татарстана, в которых затрагивается история революционных событий 1917–1920-х годов. Во-первых, это учебное пособие для учеников 9 класса средней основной школы, допущенное Министерством науки и образования РТ «История Татарстана. XX — начало XXI в.» (Султанбеков и др. 2006). Именно это учебное пособие используются для преподавания в школах Татарстана. По этой причине анализ данного учебного пособия особенно важен для целей нашей статьи. Во-вторых, учебное пособие для национальных школ, гимназий и лицеев «История татарского народа с древнейших времен и до наших дней» (Рашитов 2001). Здесь важно отметить, что на территории Татарстана это учебное не использовалось, а предназначалось для татарских гимназий за пределами республики. В-третьих, учебник для студентов высших учебных заведений, рекомендованный Министерством общего и профессионального образования РФ «История Татарстана. С древнейших времен до наших дней» (Сабилова, Шарапов 2009). Важно отметить, что учебник этих авторов не имеет грифа Министерства образования РТ, но зато имеет гриф Министерства образования РФ. По нашим сведениям этот учебник практически не используется в учебном процессе в вузах Татарстана.

Начнем наш анализ с учебного пособия «История Татарстана. XX — начало XXI в.» (Султанбеков и др. 2006). В этом учебном пособии революционные события 1917–1920-х гг. описываются во второй главе, названной «В годы революций и гражданской войны». Глава начинается

с описания ситуации в Казанской губернии в преддверии Февральской революции 1917 г. Первоначально население поддерживало участие России в Первой мировой войне и как отмечают авторы учебного пособия: *«Голоса осуждавших войну звучали очень редко. Так, в декабре 1914 г. внимание полиции привлёк крестьянин села Берсут-Сюкачи Мамадышского уезда Р. Галеев. По сообщению осведомителя, он возбуждал татарское население против войны и царя, называя войну нехорошей, начатой зря»* (Султанбеков и др. 2006: 43). Со временем общественное мнение менялось и всё больше становилось антивоенным. Социально-экономические проблемы, вызванные войной, коснулись также и Казанского края (Султанбеков и др. 2006: 43–44).

Далее в учебном пособии описываются события Февральской революции 1917 г. в Казанском крае. Авторы указывают на то, что ситуация в крае во время февральской революции развивалась также как и по всей стране: *«В начале марта в Казани и губернии были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. Преобладали в них эсеры и меньшевики. Так было по всей стране... В крае, как и по всей стране, установилось двоевластие. Какая-то из двух сил должна была одержать верх»* (Султанбеков и др. 2006: 44–45). Большое внимание авторы уделяют общественно-политической жизни в Казанском крае и в том числе национальному движению мусульманских народов: *«Февральская революция породила большие надежды среди нерусских народов края. В программе Временного правительства их внимание привлекало прежде всего положение об “отмене всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений”»* (Султанбеков и др. 2006: 48). В целом авторы учебника дают позитивную оценку Февральской революции, в том числе за подъем национального движения: *«Февральская революция, начавшаяся в Петрограде, была активно поддержана населением края. Как и во всей стране, в Казанской губернии возникло неустойчивое двоевластие. Забурлила общественно-политическая жизнь, главным в которой стал вопрос об отношении к Временному правительству. Политические партии спланировали своих сторонников под обновленными лозунгами. На более высокую ступень поднялось национальное движение, провозгласившее идеи национальной-культурной автономии»* (Султанбеков и др. 2006: 50).

Достаточно подробно авторы учебного пособия описывают события Октября 1917 года в Казани (в частности они подчеркивают то, что октябрьское восстание в 1917 году началось в Казани даже раньше, чем в Петрограде): *«Октябрь в Казани стал отражением*

общенационального кризиса в стране. Восстание здесь вспыхнуло стихийно и началось несколько раньше событий в Петрограде. Советская власть в крае, как и во всей стране, утвердилась сравнительно быстро и почти бесконфликтно. Одним из первых испытаний для неё стала проблема государственности народов Поволжья» (Султанбеков и др. 2006: 50). Интересно отметить, авторы учебного пособия не используют понятие «революция» по отношению к событиям Октября 1917 г. в отличие от событий Февраля 1917 года.

В параграфе, посвященному Октябрю 1917 г. большое внимание уделяется проектам национального самоопределения татарского народа. Авторы показывают противоречивый характер национальной политики большевиков, которые: *«продолжали использовать лозунг национального самоопределения. Но теперь, по их новой трактовке, самоопределяться могли не народы, а рабочие и крестьяне каждой нации, стоящие на платформе Советской власти. Такой узко классовый подход противоречил взглядам представителей национальных движений. У властей же появлялись основания для обвинения их в контрреволюционных действиях, даже если в ходе самоопределения речь не шла об отделении и образовании самостоятельного государства»*. (Султанбеков и др. 2006: 56).

В конце концов, большевикам и представителям национального движения удалось отчасти достичь компромисса: *«За несколько дней до казанских мартовских событий СНК РСФСР принял положение о Татаро-Башикской Советской Социалистической Республике (ТБССР). Идея создания такой республики как формы национальной государственности татар и башкир принадлежала В. И. Ленину, И. В. Сталину и М. М. Вахитову. Она была выдвинута в противовес проекту Урало-Волжского штата... Данный проект примирил многих с Советской властью. От конфронтации они перешли на позиции сотрудничества. Часть же лидеров национального движения начала вынашивать идею создания демократической России — не советской и не буржуазной. Зрело новое крупное социально-политическое противоречие»*. (Султанбеков и др. 2006: 59).

Далее авторы учебника описывают события Гражданской войны на территории современного Татарстана: *«В годы Гражданской войны территория края дважды являлась ареной боевых действий. Дважды главным становился Восточный фронт. Постоянным был фронт внутренний. Победу и на нем, в конечном счете, одержали большевики, выдвинувшие более привлекательные для масс социально-экономиче-*

ские и национальные идеи и проекты» (Султанбеков и др. 2006: 72). Интересно проанализировать оценки авторов ключевых противоборствующих сил в Гражданской войне. Представителям белого движения авторы дают исключительно негативные оценки. Так, например, они показывают, что население слабо поддерживало власть Комуца: *«Социальная база Комуца была незначительной. О его поддержке заявляли владельцы возвращённых им предприятий, профессора Казанского университета, учителя, некоторые православные и мусульманские священнослужители. Реальная помощь населения была небольшой. На рабочих окраинах царило враждебное настроение»* (Султанбеков и др. 2006: 63). Представители белых сил (Комуч, чехословаки, колчаковцы) представлены в учебном пособии как «захватчики» — военные операции белых сил описываются с помощью глагола «занимать»: *«К концу марта 1919 г. войска А. В. Колчака заняли ряд восточных и юго-восточных уездов губернии, Мензелинск, Бугульму, Елабугу, некоторые другие населённые пункты»* (Султанбеков и др. 2006: 67). Также белые в отличие от большевиков придерживались лозунга «Единой и неделимой России»: *«От этого лозунга А. В. Колчак не отступал ни на шаг. Во время приёма у “верховного правителя российского государства” деятелям татарского национального движения Г. Баруди, С. Урманову и Г. Исхаки было прямо заявлено, что о национальных правительствах, национальных парламентах не может быть и речи»* (Султанбеков и др. 2006: 68).

В отличие от белых сил большевикам даются амбивалентные оценки, но при этом позитивные оценки преобладают над негативными оценками. Так, например, большевики действуют во время Гражданской войны как «освободители» и для их боевых действий используется не только глагол «занимать», но и глагол «освободить»: *«К концу 1918 г. территория Казанской губернии была полностью освобождена»* (Султанбеков и др. 2006: 65) или *«Во взаимодействии с Волжской военной флотилией части 2-й армии, одним из членов Реввоенсовета которой был М. Х. Султан-Галиев, в начале мая заняли Чистополь. Затем была освобождена Бугульма»* (Султанбеков и др. 2006: 65). Авторы учебного пособия позитивно оценивают большевиков за что они лозунгу «единой и неделимой России» противопоставили идеи национальной государственности (Султанбеков и др. 2006: 68). Негативные оценки же большевикам авторами учебника даются во многом за жестокие меры, с помощью которых они действовали во время Гражданской войны.

Ключевым итогом революционных событий 1917–1920-х гг. для татарского народа, по мнению авторов этого учебного пособия, стало образование Татарской АССР в 1920 году (Султанбеков и др. 2006: 70–71). Важно отметить, что идеологема государственности является одной из ключевых идеологем проекта национальной истории, конструируемой в Татарстане. Как отмечает Р. Хакимов, история государственности является «стержневой проблемой» татарской истории (Хакимов 2007: 236). В контексте этой идеологемы создание Татарской АССР в 1920 г., стало частичным восстановлением государственности татар, которую они потеряли в 1552 году после взятия Казани войсками Ивана Грозного.

Революционные события 1917–1920 гг. преподносятся в других учебных пособиях по истории Татарстана и татарского народа (Рашитов 2001; Сабирова, Шарапов 2009) по схожей модели. Революционные события описываются в региональном масштабе, и большое внимание уделяется национальному движению татарского народа. В то же время есть некоторые различия в трактовках этих событий в данных учебных пособиях. Так, например, события Октября 1917 г. описываются Сабировым и Шараповым как «Октябрьский государственный переворот» и ему дается скорее негативная оценка (Сабирова, Шарапов 2009). В учебном пособии Рашитова, наоборот, события Октября 1917 г. названы «революцией» и «Октябрьская революция» оценивается исключительно с положительной стороны: *«Октябрьские события показали, что татарский народ в своем большинстве встал на сторону советской власти, большевиков. Оказались тщетными попытки ряда лидеров национального движения консолидировать весь народ исключительно на проблеме национального возрождения, не участвуя в решении общегосударственного вопроса о власти. Эти события показали иллюзорность представлений мелкобуржуазных демократов о возможности обеспечения национального единства в условиях социально и политически расколотого общества ... Октябрьская революция позволила приступить к решению национального вопроса на базе программы советской власти»* (Рашитов 2001: 210).

Авторы этих учебных пособий (Рашитов 2001; Сабирова, Шарапов 2009) больше внимания уделяют расколу в рядах национального движения в годы Гражданской войны, чем это делается в учебнике Султанбекова и его соавторов (Султанбеков и др. 2006). Так, например, Сабирова и Шарапов пишут о том, что: *«На стороне Комитета членов*

Учредительного собрания, а затем и правительства адмирала Колчака оказалась часть татарских политических деятелей, входивших в разогнанные Советской властью Милли Меджлис, Милли Идэрэ, офицеры Харби Шура, а также многие офицеры и часть солдат расформированных Советской властью в ходе разгона Волжско-Уральской Республики татарско-башкортских национальных воинских частей» (Сабирова, Шарапов 2009). В данном случае важно напомнить читателям, что учебные пособия Рашитова и Сабировой и Шарапова, в отличие от учебника Султанбекова и его соавторов практически не используются в учебном процессе в школах и вузах Татарстана. Поэтому вряд ли они могли оказать большое влияние на массовые представления жителей Татарстана.

Подобную трактовку революционных событий 1917–1920-х гг. с упором на историю национального движения татарского народа, которая отражена в учебных пособиях, мы можем также встретить и в научно-популярной литературе. Так, например, Рафаэль Хакимов пишет: *«Для одних Казань — город революционеров: народоволки Фигнер, учившейся в Родионовском институте благородных девиц, Баумана, студента Ветеринарного института, В. Ульянова, С. Кирова, В. Молотова, А. Рыкова. В Казани их плохому не учили. Другие же историки заглянут в Татарскую слободу, где существовал свой мир, насыщенный исламскими и тюркскими идеями. Юсуф Акчура, пройдя свои “университеты” в медресе “Мухаммадия”, бежал от преследования властей в Турцию и оказался одним из идеологов турецкой революции, соратником и советником президента Кемаля Ататюрка. Садри Максуди в годы революции возглавил движение за создание “Штата Идель-Урал”. Ему в противовес Мирсаид Султан-Галиев предложил проект Татаро-Башкортской республики и выдвинул идею “исламского социализма”. Весь арабский мир подхватил его концепцию и она стала их путеводной звездой до конца XX столетия» (Хаким 2007: 273–274).*

Таким образом, революционные события 1917–1920-х гг. рассматриваются в элитарном дискурсе через призму национальной истории татар и в региональном масштабе. Большое внимание в рамках элитарного дискурса уделяется национальному движению татарского народа, в результате действий которого произошло частичное восстановление потерянной в 1552 году государственности в форме образования Татарской АССР.

Массовые исторические представления

Обратимся к анализу социологических данных, полученных в ходе проекта «Войны памяти» и «конвенции памяти» в постсоветском Татарстане: элитарные версии исторического прошлого и массовые представления с помощью методов интервью ($n = 170$ информантов) и анкетного опроса жителей Казани ($n = 1000$ респондентов). Анкетный опрос был проведен в мае 2014 г. на основе репрезентативной выборки, в которой пропорционально представлены основные группы населения города по критерию этничности, пола, возраста и образования. Интервью проводились как с экспертами (профессиональными историками, политическими активистами и т. д.), так и с простыми жителями Казани. Исходя из целей статьи, обратимся к анализу интервью, проведенных с представителями последней группы. В ходе интервью мы не задавали конкретных вопросов ни по истории революционных событий 1917–1920 гг., ни по другим историческим эпохам. Интервьюеру необходимо было узнать у информанта его представления и оценку «нашей истории». Предполагалось, что информант самостоятельно выберет то, что для него является «нашей историей». В этом случае информант сам идентифицировал себя как часть «воображаемого сообщества» (государства, той или иной этнической или социальной группы). Кто-то из информантов выбирал в качестве «нашей истории» историю России и (или) СССР, кто-то — историю Татарстана и (или) татарского народа, для кого-то важна была история своего города. Чтобы избежать искажений по этническому принципу, интервью с татарами проводили татары, а интервью с русскими информантами проводили русские интервьюеры.

Отметим, что события Революции 1917 года и Гражданская война 1918–1922 гг. слабо отражены в материалах интервью с жителями Татарстана. Только в 14 интервью из 170 интервью встречаются упоминания об этих исторических событиях. В отличие от взглядов татарских региональных элит, в массовых представлениях революционные события 1917–1920-х гг. не связываются с национальной историей татарского народа (даже в интервью с татарами), а рассматриваются как события общероссийского масштаба. Так в одном из интервью один респондент говорит: *«Сколько я знаю, мое представление, что революции-то и не было в нынешнем Татарстане... например, что касается революции 1917 года, когда там были беловики и красные. Как они назывались? Большевики были и меньшевики, не помню, как*

они называются, то есть, которые были против большевиков. Они когда начали наступать, когда было преимущество перед большевиками, они захватили государственную казну, которая хранилась в Казани. Вот этот исторический момент осел в голове. Почему так? Не могли сохранить казну» (ВПМ-7). Революция 1917 года в интервью рассматривается иногда как одномоментное событие («Октябрьская революция») или иногда как долговременный период (процесс) (с февраля 1917 г. до 1937 г.).

В материалах интервью Октябрьской революции 1917 года даются либо нейтральные оценки как просто значимому историческому факту, либо негативные оценки как трагической странице истории, либо амбивалентные оценки как великому историческому событию, но которое привело к большим человеческим жертвам. Приведем пример негативной оценки Революции 1917 г. из одного интервью: *«всех крестьян делали богами, те, кто были князьями они стали ничем, то есть, несправедливые решения принимались по отношению к людям, был хаос, ну я уж так сужу по событиям, по фильмам, которые смотрела, то есть для меня, кажется это было несправедливое время»* (ВПМ-8).

Интересно отметить, что информанты в ходе интервью отмечали следующие источники знаний о Революции 1917 года: 1) художественные и документальные фильмы; 2) художественную литературу (например, роман Шолохова «Тихий Дон»). При этом в интервью отсутствуют ссылки на учебники и воспоминания родственников.

Анализ данных анкетного опроса свидетельствует, что в ответах о революции 1917 г. и Гражданской войне 1918–1922 гг. статистически значимых различий по этническим группам (татары и русские), полу, возрастным группам, образованию, политическим предпочтениям не выявлено. Отвечая на вопрос о самых интересных эпохах в истории России, только 12,5% респондентов выбрали Революцию 1917 года и Гражданскую войну 1918–1922 гг. (таблица 1).

В вопросе, «Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интересны для вас?» Октябрьскую революцию 1917 г. и Гражданскую войну 1918–1922 гг. выбрали 7,4% респондентов (таблица 2).

По мнению 3,4% респондентов Октябрьская революция 1917 года является началом истории России (таблица 3). 6,5% респондентов испытывают гордость за Октябрьскую революцию 1917 года (таблица 4). Для 7,2% респондентов стыдно за Революцию 1917 года и Гражданскую войну 1918–1922 гг. в истории России (таблица 5). 1,7% респондентов испытывают стыд за Революцию 1917 года и Гражданскую

войну 1918–1922 гг. в истории Татарстана (таблица 6). 11,3% респондентов считают Революцию 1917 года и Гражданскую войну 1918–1922 гг. трагической страницей в истории России (таблица 7). 12,2% респондентов считают эти события трагической страницей в истории Татарстана (таблица 8). Только 2% респондентов отмечают праздник Октябрьской революции 1917 года в кругу семьи. Любопытно отметить, что для 17,2% респондентов создание Татарской АССР является началом истории Татарстана (таблица 9).

Таблица 1

Эпохи в истории России, вызывающие наибольший интерес, в процентах

Какие эпохи в истории России наиболее интересны для вас? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.	28,8	27,1	28,0
Эпоха Петра I	25,6	22,6	24,1
Время царствования Екатерины II	20,0	20,4	20,2
Киевская Русь	11,7	17,7	14,7
Эпоха Л. И. Брежнева	14,5	11,6	13,1
Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	12,5	12,4	12,5

Примечание: В этой таблице, как и в следующих таблицах, представлены не все варианты ответов, которые присутствовали в анкете. Варианты ответов приводятся не том порядке, в котором они стояли в анкете, а в порядке убывания числа ответивших.

Таблица 2

Эпохи в истории Татарстана, вызывающие наибольший интерес, в процентах

Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интересны для вас? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Волжская Булгария	40,0	28,7	34,3
Золотая Орда	20,9	19,1	20,0
Казанское ханство	23,9	16,1	20,0
Время царствования Екатерины II	14,4	15,7	15,0

Окончание таблицы 2

Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интересны для вас? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
История Казанской губернии в XIX в.	12,2	13,4	12,8
История постсоветского Татарстана	11,0	8,7	9,8
Древние тюркские государства Евразии (государство Хунну, Тюркский каганат)	6,9	7,9	7,4
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	7,3	7,5	7,4

Таблица 3

**Начало истории России,
в процентах**

С какого момента, на ваш взгляд, начинается история России? (один вариант ответа)	Татары	Русские	Всего
Крещение Руси при князе Владимире	19,2	22,2	20,9
Распад СССР	20,8	19,6	19,7
Призвание Рюрика на княжение	12,4	16,6	14,5
Правление Петра I	8,6	6,8	7,7
Царствование Ивана Грозного	7,4	6,0	6,7
Октябрьская революция 1917 г.	3,6	3,2	3,4

Таблица 4

**События в истории России, которые вызывают гордость,
в процентах**

Какими событиями в истории России вы гордитесь больше всего? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Победа в Великой Отечественной войне	55,8	60,2	58,0
Полет Юрия Гагарина в космос	30,4	34,2	32,3
Отмена крепостного права	21,9	19,1	20,5
Олимпийские игры в Москве в 1980 г.	14,4	17,3	15,9
Октябрьская революция 1917 г.	7,7	5,2	6,5

Таблица 5

**События и эпохи в истории России, которые вызывают стыд,
в процентах**

Какие события и эпохи в истории нашей страны вызывают у вас стыд? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Война в Чечне	25,9	24,6	25,2
Сталинские репрессии	24,6	21,3	23,0
Распад СССР	17,4	18,7	18,0
Война в Афганистане	12,7	16,5	14,6
Чернобыльская катастрофа	14,5	12	13,3
Эпоха Ельцина	11,1	14,2	12,7
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	7,5	6,9	7,2

Таблица 6

**События и эпохи в истории Татарстана, которые вызывают стыд,
в процентах**

Какие события и эпохи в истории Татарстана вызывают у вас стыд? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Война в Чечне	20,4	20,7	20,6
Война в Афганистане	22,2	17,4	19,8
Сталинские репрессии	19,6	19,5	19,5
Гонения на мусульман в XVI–XVIII вв.	22,8	13,9	18,4
Эпоха Ельцина	17,6	13,3	18,4
Распад Тюркского каганата	3,4	3,5	3,5
Сворачивание суверенитета Татарстана в 2000-е гг.	2,0	2,1	2,0
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	1,4	2,1	1,7

Таблица 7

**Трагические страницы истории России,
в процентах**

Какие события вы считаете самыми трагическими событиями и эпохами в истории нашей страны? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.	46,1	46,4	46,2
Чернобыльская катастрофа	19,3	25,0	22,2
Сталинские репрессии	19,9	21,2	20,5
Война в Чечне	20,1	20,2	20,1
Смутное время	16,1	15,9	16
Война в Афганистане	14,7	11,9	13,3
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	10,5	12,1	11,3

Таблица 8

**Трагические страницы истории Татарстана,
в процентах**

Какие события и эпохи вы считаете самыми трагическими в истории Татарстана? (не более трех вариантов ответа)	Татары	Русские	Всего
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.	32,3	37,1	34,7
Война в Афганистане	15,1	19,0	17,0
Война в Чечне	13,7	16,3	15,0
Гонения на мусульман в XVI–XVIII вв.	14,9	12,2	13,6
Революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг.	11,1	13,3	12,2
Сталинские репрессии	11,1	14,1	12,6
Падение Казани в 1552 г.	11,7	6,1	8,9
Сворачивание суверенитета Татарстана в 2000-е гг.	5,0	4,1	4,6
Распад СССР	9,5	8,2	8,8
Распад Тюркского каганата	1,8	1,2	1,5

**Начало истории Татарстана,
в процентах**

С какого момента, на ваш взгляд, начинается история Татарстана? (один вариант ответа)	Татары	Русские	Всего
Создание Татарской АССР	18,2	16,2	17,2
Появление Волжской Булгарии	16,6	14,8	15,7
Появление Золотой Орды	8,4	14,2	11,3
Присоединение к Московскому государству при Иване Грозном	9,8	9,0	9,4
Создание Болгарского ханства Кубратом в Причерноморье	8,8	8,6	8,7
Принятие ислама в 922 г.	5,4	5,8	5,6
Создание Казанского ханства	5,0	4,6	4,8
Создание Тюркского каганата	4,8	3,8	4,3

Таким образом, версия революционных событий 1917–1920-х гг., как мы можем видеть из социологических данных, создаваемая элитами Татарстана очень слабо влияет на массовые исторические представления жителей Татарстана об этой эпохе. Главным источником по истории Революции 1917 г. и Гражданской войны для жителей Татарстана являются не учебники, а продукция массовой культуры (фильмы, художественная литература и др.).

Заключение

Проведенное исследование показало, что революционные события 1917–1920 гг. рассматриваются в элитарном дискурсе через призму национальной истории татар и в региональном масштабе. Поэтому большое внимание при описании этих событий уделяется национальному движению татарского народа. Участникам «белых» сил в Гражданской войне даются однозначно негативные оценки из-за того, что они выступали за «единую и неделимую Россию» и не признавали прав татарского народа на национальное самоопределение. «Красные» силы оцениваются амбивалентно, но позитивные оценки преобладают

над негативными оценками. Главным достижением революционных событий признается провозглашение Татарской АССР в 1920 г., что означало частичное восстановление государственности татар, которую они потеряли в 1552 года.

По материалам интервью и анкетного опроса тема Революции 1917 года и Гражданской войны 1918–1922 гг. достаточно слабо представлена в массовых исторических представлениях жителей Татарстана. В тех материалах, в которых эта тема затрагивается, революционные события 1917–1920-х гг. представлены как одна из ключевых вех истории XX века, наряду с Великой Отечественной войной и распадом СССР. В отличие от элитарного дискурса татарской элиты, в массовых представлениях революционные события 1917–1920-х гг. не связываются с национальной историей татарского народа (даже в интервью с татарами), а рассматриваются как события общероссийского масштаба. При этом даются разнообразные эмоциональные оценки этих событий (как правило, негативные или амбивалентные оценки). Важную роль в формировании массовых представлений жителей Татарстана о революции 1917 г. играет общероссийская продукция массовой культуры (фильмы, художественная литература и др.), а не учебная и научно-популярная литература по истории Татарстана и татарского народа.

Источники

Бойков В. Э., Меркушин В. И. (2003). Историческое сознание в современном российском обществе: состояние и тенденции формирования // Социология власти. Вестник Социологического центра РАГС. № 2. С. 5–22.

Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. (ред.) (2009) Национальные истории на постсоветском пространстве — II. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX.

Гибатдинов М. М. (2003) Преподавание истории татарского народа и Татарстана в общеобразовательной школе: история и современность. Казань: Институт истории АН РТ.

Гилязов И. (2000) Из опыта преподавания национальной истории: история татарского народа в Казанском университете — вчера и сегодня. *Ab Imperio*, 3–4: 359–356.

Исхаков С. (1999) История народов Поволжья и Урала: проблемы и перспективы «национализации». Национальные истории в советском и постсоветском государствах. Аймермахер К., Бордюгов Г. (ред.). М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX.

Кабирова А. Ш. (2008). Рецензия на учебник: Островский В. П. История России. XX век: 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Островский. — 8-е изд, доп.. — М.: Дрофа, 2004. — 480 с. // Рецензии на федеральные учебники по истории отечества. Казань: Институт истории АН РТ.

Миллер А., Липман М. (ред.) (2012) Историческая политика в XXI веке. Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение.

Мухарямова Л. М., Андреева А. Р. (2013) Институционализация национальной школы в постсоветской России. Этносоциология в Татарстане: опыт полевых исследований. Сб. статей к юбилею Л. М. Дробжиновой. Мусина Р. Н., Габдрахманова Г. Ф., Макарова Г. И., Сагитова Л. В. (ред.). Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ: 87–115.

Низамова Л. Р. (2001) Медиа-продукт и «национальная» идеология: кейс-стади Всемирного конгресса татар. Постсоветская культурная трансформация: медиа и этничность в Татарстане. Казань: Изд-во КГУ: 166–233.

Овчинников А. В. (2010) Новый подход к изучению феномена современной «национальной историографии» (на примере «истории татарского народа»). Вестник Удмуртского университета, 1: 79–85.

Овчинников А. В. (2015) Кровь и плоть воображаемых сообществ: биологизация этничности в дискурсах национальных историй (по материалам постсоветского Татарстана). Конфликтогенный потенциал национальных историй: сб. науч. статей. Казань: Юниверсум: 177–198.

Понарин Э. Д., Жирков К. А. (2013) Национализм этнический и политический: институциональные факторы татарского национализма в республиках Волжско-Уральского региона. Мир России: Социология. Этнология. 22(3): 152–177.

Рашитов Ф. А. (2001). История татарского народа с древнейших времен и до наших дней. Саратов: Региональное приволжское изд-во «Детская книга».

Сабирова Д. К., Шаранов Я. Ш. (2009) История Татарстана с древнейших времен до наших дней: учеб. для студентов высших учебных заведений. М.: Кнорус.

Сагитова Л. В. (1998) Этничность в современном Татарстане. Казань: Татполиграф.

Султанбеков Б. Ф., Иванов А. А., Галлямова А. Г. (2006). История Татарстана XX — начало XXI века. Учебное пособие для 9 класса основной школы. Казань: Татарское республиканское издательство «Хэтер».

Усманова Д. (2003) Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков. Ab Imperio, 3: 337–360.

Хаким Р. (1999) История татар и Татарстана: методологические и теоретические проблемы. «Панорама-Форум», 19, спецвыпуск.

Хаким Р. С. (2007) Тернистый путь к свободе (Сочинения 1989–2006 гг.). Казань: Татарское книж. изд-во.

Шнирельман В. (2002) Идентичность и образы предков: татары перед выбором. Вестник Евразии, 4: 128–147.

Шнирельман В. А. (2003) Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига.

Alvarez Veinguer A. (2007) (Re)Presenting Identities: National Archipelagos in Kazan. Nationalities Papers, 35 (3): 457–476.

Alvarez Veinguer A., Davis H. (2007) Building a Tatar elite. Language and national schooling in Kazan. Ethnicities, 7 (2): 186–207.

Davis, H., Hammond P., Nizamova L. (2000) Media, Language Policy and Cultural Change in Tatarstan: Historic vs. Pragmatic Claims to Nationhood. Nations and Nationalism, 6 (2): 203–226.

Derrick M. (2009) Revisiting ‘Sovereign’ Tatarstan. Usak Yearbook, 2: 283–306.

Derrick M. (2013) The Tension of Memory: Reclaiming the Kazan Kremlin. Acta Slavica Iaponica, 33: 1–25.

Faller H. M. (2011) Nation, Language, Islam: Tatarstan’s Sovereignty Movement. Budapest, N. Y.: Central European University Press.

Gorenburg D. (2003) Minority ethnic mobilization in the Russian Federation. Cambridge: Cambridge University Press.

Graney K. E. (2009) Of Khans and Kremllins: Tatarstan and the Future of Ethno-Federalism in Russia. Lanham: Lexington Books.

Kinossian N. (2012) Post-Socialist Transition and Remaking the City: Political Construction of Heritage in Tatarstan. Europe-Asia Studies, 64 (5): 879–901.

Rorlich Azode-Ayse (1999) History, Collective Memory and Identity: the Tatars of Sovereign Tatarstan. Communist and Post-Communist Studies, 32 (4): 379–396.

Zverev A. (2002) ‘The Patience of a Nation is Measured in Centuries’. National Revival in Tatarstan and Historiography. In: Coppieters B. and M. Huyseune (eds.) Secession, History and the Social Sciences. VUB Brussels University Press.

References

Alvarez Veinguer A. (2007) (Re)Presenting Identities: National Archipelagos in Kazan. Nationalities Papers, 35 (3): 457–476.

Alvarez Veinguer A., Davis H. (2007) Building a Tatar elite. Language and national schooling in Kazan. Ethnicities, 7 (2): 186–207.

Bojkov V. E., Merkushin V. I. (2003). Istoricheskoe soznanie v sovremen-nom rossijskom obshchestve: sostoyanie i tendencii formirovaniya [Historical consciousness in modern Russian society: the state and trends of formation]. *Sociology of Power. Bulletin of the Sociological Center of the Russian Academy of Public Administration*, No 2, pp. 5–22 (in Russian).

Bomsdorf F., Bordyugov G. (eds.) (2009) Nacional'nye istorii na postsovetskom prostranstve — II [National History in Post-Soviet Space-II]. Moscow: Fridrih Naumann Foundation, AIRO-XX (in Russian).

Davis H., Hammond P., Nizamova L. (2000) Media, Language Policy and Cultural Change in Tatarstan: Historic vs. Pragmatic Claims to Nationhood. *Nations and Nationalism*, 6 (2): 203–226.

Derrick M. (2009) Revisiting 'Sovereign' Tatarstan. *Usak Yearbook*, 2: 283–306.

Derrick M. (2013) The Tension of Memory: Reclaiming the Kazan Kremlin. *Acta Slavica Iaponica*, 33: 1–25.

Eimermacher K., Bordyugov G. (eds.) (1999) Nacional'nye istorii v sovetskom i postsovetskom gosudarstvah [National histories in Soviet and Post-Soviet States]. Moscow: Fridrih Naumann Foundation, AIRO-XX (in Russian).

Faller H. M. (2011) Nation, Language, Islam: Tatarstan's Sovereignty Movement. Budapest, New York: Central European University Press.

Gibatdinov M. M. (2003) Prepodavanie istorii tatarskogo naroda i Tatarstana v obshcheobrazovatel'noj shkole: istoriya i sovremennost' [Teaching the history of the Tatar people and Tatarstan in the general education school: history and modernity]. Kazan: Institut istorii AN RT (in Russian).

Gilyazov I. (2000) Iz opyta prepodavaniya nacional'noj istorii: istoriya tatarskogo naroda v Kazanskom universitete — vchera i segodnya [From the experience of teaching national history: the history of the Tatar people at the University of Kazan — yesterday and today]. *Ab Imperio*, 3–4: 359–356 (in Russian).

Gorenburg D. (2003) Minority ethnic mobilization in the Russian Federation. Cambridge: Cambridge University Press.

Graney K. E. (2009) Of Khans and Kremfins: Tatarstan and the Future of Ethno-Federalism in Russia. Lanham: Lexington Books.

Hakim R. (1999) Istoriya tatar i Tatarstana: metodologicheskie i teoreticheskie problem [History of Tatars and Tatarstan: methodological and theoretical problems]. *Panorama-Forum*, 19, Special issue (in Russian).

Hakim R. S. (2007) Ternistyj put' k svobode (Sochineniya 1989 — 2006 gg.) [A thorny path to freedom (Compositions 1989–2006)]. Kazan: Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo (in Russian).

Iskhakov S. (1999) Istoriya narodov Povolzh'ya i Urala: problemy i perspektivy «nacionalizacii» [History of the peoples of the Volga and the Urals:

problems and perspectives of “nationalization”]. In: Eimermacher K., Bordyugov G. (eds.). National histories in the Soviet and post-Soviet states. Moscow: Fridrih Naumann Foundation, AIRO-XX (in Russian).

Kabirova A. SH. (2008). Recenziya na uchebnik: Ostrovskij V. P. Istoriya Rossii XX vek: 11-kl. Ucheb. Dlya obshcheobrazovat. Uchrezhdenij. 8-e izd. dop. M. Drofa-2004. [Review of the textbook: Ostrovsky V. P. Russian history. The twentieth century: 11 th. grade. Textbook of the main school]. In: Recenzii na federalnye uchebniki po istorii otechestva [Reviews of the federal textbooks on the history of the fatherland]. Kazan: Institut Istorii AN RT. (in Russian).

Kinossian N. (2012) Post-Socialist Transition and Remaking the City: Political Construction of Heritage in Tatarstan. *Europe-Asia Studies*, 64 (5): 879–901..

Miller A., Lipman M. (eds.) (2012) *Istoricheskaya politika v XXI veke* [Historical politics in the 21 st century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie (in Russian).

Mukharyamova L. M., Andreeva A. R. (2013) *Institucionalizaciya nacional’noj shkoly v postsovetsoj Rossii* [Institutionalization of the National School in Post-Soviet Russia]. In: Musina R. N., Gabdrahmanova G. F., Makarova G. I., Sagitova L. V. (eds.) *Etnosociologiya v Tatarstane: opyt polevyh issledovanij. Sbornik statej k yubileyu L. M. Drobizhevoj.* [Ethnosociology in Tatarstan: the experience of field research. Collection of articles for the jubilee L. M. Drobizheva]. Kazan: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT: 87–115 (in Russian).

Nizamova L. R. (2001) *Media-produkt i “nacional’naya” ideologiya: kejs-stadi Vsemirnogo kongressa tatar* [Media product and “national” ideology: the case-study of the World Congress of Tatars], *Postsovetsoj kul’turnaya transformaciya: media i ehtnichnost’ v Tatarstane* [Post-Soviet Cultural Transformation: Media and Ethnicity in Tatarstan]. Kazan: KGU Press: 166–233 (in Russian).

Ovchinnikov A. V. (2010) *Novyj podhod k izucheniyu fenomena sovremennoj «nacional’noj istoriografii» (na primere «istorii tatarskogo naroda»)* [A new approach to the study of the phenomenon of modern “national historiography” (on the example of “the history of the Tatar people”)], *Vestnik Udmurtskogo universiteta* [Bulletin of the Udmurt University], 1: 79–85 (in Russian).

Ovchinnikov A. V. (2015) *Krov’ i plot’ voobrazhaemyh soobshchestv: biologizaciya ehtnichnosti v diskursah nacional’nyh istorij (po materialam postsovetsoj Tatarstana)* [The blood and flesh of imaginary communities: the biology of ethnicity in the discourses of national histories (based on the materials of post-Soviet Tatarstan)]. *Konfliktogennyj potencial nacional’nyh istorij* [Conflictogenic potential of national histories]. Kazan: Universum: 177–198 (in Russian).

Ponarin E. D., Zhirkov K. A. (2013) Nacionalizm ehtnicheskij i politicheskij: institucional'nye faktory tatarskogo nacionalizma v respublikah Volzhsko-Ural'skogo regiona [Ethnic and political nationalism: institutional factors of Tatar nationalism in the republics of the Volga-Ural region], *Mir Rossii* [Universe of Russia], 22(3): 152–177 (in Russian).

Rashitov F. A. (2001). Istoriya tatarskogo naroda s drevnejshih vremen i do nashih dnei [History of the Tatar people from ancient times to our days]. Saratov: Regionalnoe privolzhskoe izdatelstvo «Detskaya kniga» (in Russian).

Rorlich Azode-Ayse (1999) History, Collective Memory and Identity: the Tatars of Sovereign Tatarstan. *Communist and Post-Communist Studies*, 32 (4): 379–396.

Sabirova D. K., Sharapov Ya. Sh. (2009) Istoriya Tatarstana s drevnejshih vremen do nashih dnei. Uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij [History of Tatarstan from ancient times to our days. Textbook for students of higher educational institutions.]. Moscow: Knorus (in Russian).

Sagitova L. V. (1998) Etnichnost' v sovremennom Tatarstane [Ethnicity in modern Tatarstan]. Kazan: Tatpoligraf (in Russian).

Shnirelman V. (2002) Identichnost' i obrazy predkov: tatory pered vyborom [Identity and images of ancestors: Tatars before the choice], *Vestnik Evrazii* [Acta Eurasica], 4: 128–147 (in Russian).

Shnirelman V. A. (2003) Vojny pamyati. Mify, identichnost' i politika v Zakavkaz'e [The war of memory. Myths, identity and politics in Transcaucasia]. Moscow: Akademkniga (in Russian).

Sultanbekov B. F., Ivanov A. A., Gallyamova A. G. (2006). Istoriya Tatarstana XX-nachalo XXI veka. Uchebnoe posobie dlya 9 klassa osnovnoj shkoly [History of Tatarstan XX — the beginning of the XXI century. Textbook for the 9 th grade of the main school]. Kazan: Tatarskoe respublikanskoe izdatelstvo «Heter» (in Russian).

Usmanova D. (2003) Sozdavaya nacional'nuyu istoriyu tatar: istoriograficheskie i intellektual'nye debaty na rubezhe vekov [Creating the national history of the Tatars: historiographical and intellectual debates at the turn of the century]. *Ab Imperio*, 3: 337–360 (in Russian).

Zverev A. (2002) 'The Patience of a Nation is Measured in Centuries'. National Revival in Tatarstan and Historiography. In: Coppieters B., Huysseune M. (eds.) *Secession, History and the Social Sciences*. VUB Brussels University Press.

Г. В. Каныгин, В. С. Корецкая

АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ

Техники кодирования, широко применяемые в социологических исследованиях с помощью компьютерных программ, представлены в статье как специфический метод инструментального согласования социологом естественно-языковых свидетельств, получаемых от информантов. Мы утверждаем, что недостатком этих техник является инструментальная слабость компьютерных инструментов кодирования. Мы предлагаем методы аналитического кодирования, которые делают отношения, широко используемые в современном программировании (модульность, наследование, визуализация, компиляция и т. д.), практически доступны для социолога для целей аналитического представления материалов, получаемых от информантов. На примере концептуализации текстовых материалов мы демонстрируем, как предлагаемые методы позволяют социологу: оперировать утверждениями на естественном языке, представленными в текстовых данных; компилировать результаты кодирования в форме семантической сети; визуализировать весь процесс работы с высказываниями информантов.

Ключевые слова: Анализ качественных данных, кодирование, социологические методы, полевое исследование, компьютерные методы социологического исследования/

Введение

Анализ качественных данных (АКД, qualitative data analysis) (Online QDA 2018) является одним из актуальных направлений развития современных методов качественного исследования. Современный АКД осуществляется с помощью компьютерных пакетов Atlas.ti, MAXQDA, NVivo, xSight, Qualrus, Ethnograph и др., составляющих отдельный класс программных разработок. Общепринятое англоязычное название этого класса компьютерных программ — qualitative data analysis software (QDAS). В качестве русскоязычного аналога мы будем использовать словосочетание «пакеты или программы АКД». Описание любого пакета АКД несложно найти в Интернете.

Специфическую функциональность пакетов АКД Келле предложил называть функциями кодирования и реконструирования данных (Kelle 1997). Льюинс и Силвер представили те же инструментальные возможности пакетов как набор отдельных инструментов: поиска

(content searching), ассоциирования (linking), кодирования (coding), аннотирования (writing and annotating), запросов (querying), сетевого представления (mapping or networking) (Lewins, Silver 2007).

Сами разработчики указанных программ зачастую выделяют именно кодирование в качестве ключевого инструментального средства их пакетов (MaxQDA 2018; Quirkos 2018). Такое внимание к инструменту кодирования в составе пакета согласуется с мнением социологов, которые рассматривают кодирование ключевой аналитической процедурой всего анализа качественных данных (Strauss 1987; Pierre, Jackson 2014).

Сент Джон и Джонсон (St. John, Johnson 2000) суммировали доводы пользователей пакетов в пользу и против их применения в качественных исследованиях. За тридцатилетнюю историю развития, о которой можно судить по работе Вольски (Wolski 2018), пакеты АКД неоднократно подвергались сравнительному анализу своих инструментальных средств (Tesch 1990; Lewins, Silver 2007; Top 16 2018). По результатам конференции KWALON (2016) Эверс очертила направления дальнейшего развития пакетов АКД (Evers 2018).

С целью совершенствования функциональности пакетов АКД рассмотрим аргументы, которые фактически свидетельствуют об инструментальной слабости этих компьютерных программ. Джанкер пишет, что «они позволяют в компьютеризированном виде делать ту же работу, которая прежним поколением исследователей выполнялась с помощью карточек и маркеров» (Junker, 2012: 85). Предвосхитив эту критику, Ла Пелль еще в 2004 году продемонстрировала, как функциональность программы АКД может быть воспроизведена с помощью офисного пакета (La Pelle 2004).

Мы относим инструментальную слабость пакетов АКД, в первую очередь, к средствам кодирования, лежащим в основе аналитической работы, выполняемой социологом с помощью пакета. Незрелость аппарата кодирования порождает методические затруднения, встречаемые социологами в ходе практической концептуализации, но не разрешаемые ими с помощью пакета. Говоря о результатах кодирования, Бэйзли отмечает «вариативность их интерпретаций разными исследователями, и даже одним и тем же исследователем в разные моменты времени» (Bazeley 2012). Подобное затруднение социолога, возникающее в ходе кодирования, можно также увидеть в словах Томпсона: «В качественном исследовании для социолога наиболее

трудной задачей является концептуальная часть анализа данных: идентификация смысловых единиц, соединение этих единиц в категории и, наконец, описание отношений между этими категориями» (Thompson 2002). Джанкер говорит, что «анализ качественных данных становится неизмеримо труднее, когда мы отходим от базовых операций кодирования» (Junker 2012).

Говоря об инструментальной слабости пакета АКД, мы опираемся на сравнение их ассистирующих возможностей с достижениями современного программирования, также получивших развитие в последние тридцать лет. В качестве опытного факта следует констатировать, что инструменты кодирования пакетов АКД на сегодня не предоставляют своим пользователям-социологам средств аналитической работы, которые доказали эффективность в тысячах программистских проектах. Такими «недопоставленными» для социолога возможностями мы считаем модульную организацию — ключевую особенность программистских конструкций, полиморфизм, инкапсуляцию, видимость и другие отношения, доступные программисту в повседневной аналитической работе.

В статье изложено усовершенствование традиционного аппарата кодирования, развивающее возможности аналитических преобразований именно естественно-языковых обозначений, возникающих в процессе АКД. Целью совершенствования является придание аппарату кодирования средств его модульной организации, включая полиморфизм, инкапсуляцию, видимость, типизацию и т. п. Принципиально важным пунктом такого совершенствования являются новые алгоритмы, компилирующие семантическую сеть, выражающую результаты кодирования.

Кодирование на принципах информационных технологий мы называем аналитическим кодированием (АК). Внедрение инструментальных средств такого кодирования в практику концептуального взаимодействия социолога и его информантов означало бы радикальное изменение аналитических возможностей исследователя. В частности, иначе была бы осознана его собственная роль: он перестал бы воспринимать себя как рассказчик (storyteller) (Charmaz 2000), а стал бы аналитиком, обобщающим результаты своей работы с информантами на современных принципах управления знаниями.

Практическая значимость развиваемого нами аналитического подхода к кодированию объясняется рядом причин. Во-первых,

полевая работа социолога в прикладном социологическом исследовании — это представительная модель совместного создания социального знания в условиях, при которых, с одной стороны, его соавторами являются рядовые носители естественного языка, не обладающие возможностью использовать специальные знания (в области моделирования, информатики и т. п.). С другой, — объемы и хитросплетения знания, сообщаемого информантами и обобщаемого исследователями, представляют собой принципиальную аналитическую трудность, отмечаемую самими социологами (см. выше). Во-вторых, разрешение этих теоретических трудностей на принципах современных информационных технологий применительно к «камерному», но предметно наглядному общению социолога и его информантов неминуемо означает создание оригинальных структурных механизмов. Функционирование таких механизмов не зависит от объемов знания или ситуаций их применения, что позволяет перенести предлагаемые инструментальные решения на сферу управления знаниями, бурно развивающуюся в настоящее время. В-третьих, в статье в терминах аналитического кодирования впервые полностью описан инструментальный аппарат, внедрение которого в технологии управления обществом обеспечивает «визуальную прозрачность» социальных решений, ограничивая тем самым возможности ответственных лиц использовать складывающиеся обстоятельства в своих интересах. В-четвертых, знакомясь с инструментальными средствами, описанными в данной статье социолог, получает возможность войти в круг проблемных вопросов построения социального знания, которые обсуждаются сегодня в социальной и компьютерной науке.

Первоначальная версия математических моделей, лежащих в основе аналитического кодирования, изложена в работе (Каныгин, Полтинникова 2016). Каким образом методы аналитического кодирования позволяют концептуализировать «естественно-научный» и «социологический» тексты, продемонстрировано в (Каныгин, Полтинникова, Корецкая 2017). В данной статье детально разобран и обоснован новый алгоритм, представляющий результаты кодирования в виде семантической сети. Этот алгоритм программно реализован в составе созданного нами онторедатора *Diagogue* (2018). Все материалы концептуализации выложены на нашем постоянно меняющемся сайте (ГКООМ). На стадии отрисовки результатов работы алгоритма использована программа *Graphviz 2.38* (2018).

Структурные механизмы аналитического кодирования

Изложение базовых идей АК мы приводим на примере концептуализации известного текста Терри, который представлен по ссылке (Terry text 2018). Для демонстрации техник АК нам достаточно совсем небольшого текстового свидетельства. Поэтому с целью упрощения изложения мы рассматриваем только одну сюжетную линию указанного текста.

При изложении нашего подхода мы опираемся на известные техники АКД — первичное кодирование, связывание кода с фрагментом свидетельства информанта, категоризацию кодов и др. Также как в АКД техники АК предназначены для аналитического выражения социологом потока свидетельства информанта. Однако в отличие от известных пакетов АКД результаты концептуализации, выполняемой социологом с помощью инструментальных средств АК, представлены семантической сетью оригинального вида. Предъявим новые инструментальные возможности АК путем практического преобразования указанного свидетельства в семантическую сеть.

Двойные обозначения

Прежде всего на фазе первичного кодирования социолог в соответствии с предлагаемым подходом использует нетрадиционную технику двойных обозначений.

Аналогично коду в АКД элементарной аналитической единицей в АК является естественно-языковое обозначение (словосочетание естественного языка), называемое понятием или концептом. Однако в отличие от АКД любое прикладное применение понятий социологом осуществляется в АК не иначе как с помощью двойных обозначений. Двойное обозначение — это пара понятий или кодов в традиционном понимании. Первое понятие пары двойного обозначения называется термином, второе — контекстом.

Важно, что у двойного обозначения всегда существует смысловая интерпретация. Термин — это традиционное обозначение социологом чего-либо, выполняемое в АКД с помощью кода. Контекст — это обозначение самим социологом условия, при котором он использует термин как дескриптор чего-либо. И термин, и контекст — это понятия, которые вводит человек, обозначая отдельные аспекты интуитивно понимаемой им ситуации.

Рассмотрим, что такое двойное обозначение применительно к свидетельству Терри. Обозначим текст этого свидетельства с помощью нашего собственного понятия РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ¹. При этом обозначим понятием МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ условия, при которых мы выполняем нашу работу по аналитическому воспроизведению текста. При необходимости в дальнейшем мы сможем дополнительно разъяснить, что мы имеем в виду под такими условиями, используя понятие МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ в качестве отправного пункта. Но уже теперь мы должны констатировать, что получили первое двойное обозначение, имеющее только что предложенную естественно-языковую интерпретацию. Такое двойное обозначение будем записывать как пару <РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ>².

Эта пара станет единственным корневым узлом формируемой семантической сети (см. рис. 6). Сеть мы будем формировать постепенно, собирая в нее все результаты нашей аналитической работы с текстом информанта. Согласно традиции АКД начнем с первичного кодирования свидетельства.

В данной статье, выполняя первичное кодирование, для упрощения изложения непривычных техник двойных обозначений мы будем использовать в качестве понятий непосредственно текстовые фрагменты из свидетельства. Тем самым мы отстранимся от проблемы неизбежной модификации смыслов информанта по причине их переобозначения социологом с помощью собственных кодов (АКД) или понятий (АК).

В соответствии с текстом информанта, вводим первый первичный код КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. При этом в соответствии со здравым смыслом и структурными особенностями АК мы должны указать условия, при которых мы вводим указанный первичный код. Такими условиями, на наш взгляд, являются реальные обстоятельства, в которых мы проводим концептуализацию. Чуть выше мы их уже обозначили с помощью пары понятий <РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ>. Таким образом до момента введения концепта КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ мы уже придали смысл двум понятиям.

¹ В рамках статьи будем обозначать единичное понятие с помощью словосочетания, набранного заглавными буквами.

² Одна и та же пара понятий может представлять собой результат кодирования социологом свидетельства информанта и узел формируемой семантической сети. В первом случае мы используем для обозначения пары треугольные скобки <>, во втором – фигурные {}.

Тем самым в момент введения концепта КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ мы располагаем двумя понятиями, введенными нами самими на основе слов Терри. Учтем это обстоятельство, связав вводимый концепт с одним из этих двух понятий в виде двойного обозначения <КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ>. Таким образом мы получили первый первичный двойной код, который связывает конкретную формулировку Терри с тем, что мы сами обозначили как его размышления. Естественно, что такая связь существует явно только в наших аналитических построениях³.

Таким образом с помощью двойных обозначений мы стремимся оградить аналитическую работу социолога от утверждений ad hoc. Новые понятия аналитик может вводить только после того, как уже сам обозначил условия, при которых осуществляет концептуальные нововведения. Эти обозначения условий, которые мы называем контекстами, могут быть также названы областями определенности вновь вводимых понятий.

Продолжая первичное кодирование, основываясь на смыслах текста Терри, вводим концепт — СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО (в лексике АКД — первичный код). Однако тот же текст ясно подсказывает, что «становится одиноко» при условии, что переехал в свой дом. Поэтому вводим двойное первичное обозначение в виде пары термин-контекст <СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО, КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ>.

Следуя тексту Терри, нетрудно создать термин НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, который передает ощущения Терри, обусловленные его вселением в новый дом. Таким образом в рамках первичного кодирования возникает двойной код <НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ>. КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — это контекст, в котором осмыслены, согласно свидетельству, уже два введенных нами термина — СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО и НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ.

Первичное кодирование в виде двойных кодов — это процесс создания базовой структуры, лежащей в основе модульной организации аналитических конструкций самого социолога. Элементарным

³ Выбор в качестве контекста РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, а не МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ является нашим авторским произволом, который упрощает изложение основных идей аналитического кодирования.

аналитическим обозначением или единицей в этих конструкциях является понятие. Повторим, что в зависимости от того, на каком месте пары (двойного кода) социолог использует понятие, оно называется термином или контекстом. Существенно, что спецификация понятия по месту в паре влияет на его обработку при построении семантической сети, возникающей как итог аналитической работы социолога.

Как показывает выполненное нами кодирование, АК предполагает, что любой термин может появиться в составе пары не иначе, как в ассоциации с контекстом, относительно которого он рассматривается. Сначала мы ввели понятие РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, а затем мы его использовали при указании контекста для вновь вводимого концепта КОГДА ТЫ ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. Этот уже введенный концепт послужил контекстом для нового нашего обозначения СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО. И т. д.

Ввиду того, что любые понятия, также как коды в традиционном случае, возникают в результате действий человека, то двойное кодирование означает определенное правило, которому подчиняется концептуальная работа социолога. Правило прагматически понятно — социологу разрешено вводить собственные аналитические обозначения — понятия — только предварительно указав условия их существования. Это условие контекстной определенности понятий существует в АК не только в виде общенаучного пожелания, а проверяется с помощью алгоритмической генерации семантической сети.

Но для того, чтобы такая генерация, а с ней и контроль аналитических действий социолога стали возможными, ему необходимо выполнить первичное связывание созданных им двойных обозначений.

Первичное связывание двойных кодов

Связывание двойных обозначений в АК — это расширенный аналог привычных действий пользователя компьютера при создании папок на своем рабочем столе. Рабочий стол / Библиотеки / Видео, Документы, Музыка, Изображения и далее пользователь может неограниченно создавать нужные ему папки, следуя своим семантическим соображениям. Эти действия пользователя компьютера социолог воспроизводит в традиционном АКД при создании категорий, объединяющих первичные и вторичные коды в единые структуры графов.

Работа социолога при АК имеет два существенных инструментальных отличия от традиционного кодирования и структурирования

папок на компьютере. Во-первых, пользователь изначально вводит двойные обозначения. Поэтому и связывает он между собой пары понятий. Во-вторых, социологу разрешено связывать пары понятий только в двухуровневые графы с единственной корневой вершиной. Такие двухуровневые графы, называемые ветвлениями или локальными связями понятий, показаны применительно к уже выполненному кодированию на рис. 1–2.



Рис. 1. Начальное ветвление

Формально: начальное ветвление состоит из двух пар понятий. По смыслу: в размышлениях Терри выделен только один аспект — ситуация вселения в свой собственный дом.



Рис. 2. Второе ветвление

Второе ветвление состоит из трех пар понятий. В ситуации вселения в свой собственный дом выделены два аспекта — одиночество и отсутствие звуков, издаваемых другими людьми

В компьютерных терминах ограничение на уровень графов означает, что пользователь создает отношение между осмысленными парами понятий не сложнее, чем папка — ее подпапки. Более сложные структуры связей и семантическая сеть в целом создаются алгоритмически на основе множества ветвлений, появившимся благодаря концептуальным действиям социолога. Социолог создает ветвления по мере необходимости в ходе концептуализации.

Для введенных четырех пар понятий предлагаемое нами связывание выглядит так, как показано на рисунках 1 и 2. Для удобства восприятия введенные пары понятий пронумерованы от 1 до 4.

Человеко-машинное разделение «концептуального труда» социолога и компьютера имеет обоснование, возникающее благодаря двойному кодированию. С одной стороны, выполняемое социологом связывание пар понятий по аналогии с созданием папок не нагружается какой-то привходящей семантикой, в частности, не трактуется как отношение «часть-целое» или «общее-частное». Также как в случае папок на компьютере социолог в АК вводит все понятия в рамках конкретной задачи концептуализации. А каждую возникающую двухуровневую структуру «папок», обозначенных парами понятий, трактует по своему усмотрению.

С другой стороны, глядя на графы, можно заметить двойную «семантическую определенность» понятий КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ (рис. 1), СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО, НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ (рис. 2). Рассмотрим, в чем она состоит на примере концепта КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. Как объяснено выше, в составе пары 2 (см. рис. 1 и 2) это понятие имеет условием своего существования контекст РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ. В то же время, очевидно, что существование папки является условием возникновения ее подпапок. В используемой нами двойной нотации папок это означает, что пара 1 является условием существования пары 2 (рис. 1), а пара 2, в свою очередь, является условием существования пар 3 и 4 (рис. 2). Эта зависимость, возникающая благодаря нашим привычным действиям с папками, является опытным фактом, который необходимо принять во внимание.

Таким образом, мы можем констатировать возникновение при конструировании ветвлений двух явно выраженных условий, которым должно отвечать существование вводимого нами понятия КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. Первое условие, назовем его контекстным, задается двойным кодированием и явно выражается контекстом. Вторым неперменным условием существования понятия КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ служит наличие «над ним» «папки», «подпапкой» которой оно является⁴. Назовем это условие структурным.

⁴Таким образом мы всегда разьясняем что-то через другое что-то.

Взгляд на рисунок 1 подсказывает, что в рассматриваемом случае обозначением контекстного и структурного условий, при которых существует понятие КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, является одно и то же понятие РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ.

Отметим, что структуры, во-первых, пары <КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ> и, во-вторых, ветвления для пары <РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ> мы вводим независимо друг от друга. Поэтому совпадение контекстного и структурного условий, в которых в наших построениях существует понятие КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ вовсе не является обязательным. И то, что эти обозначения совпали благодаря нашим действиям, мы трактуем как алгоритмическую проверку таких действий при введении понятий и их локальном связывании.

Графы рисунков 1 и 2, несут в себе ровно те смыслы, которые, как мы думаем, видит в рассказе информанта любой носитель языка. В размышлениях Терри одним из сюжетов является описание происходящего с ним в новом доме. Это отражено в том, что «папка» РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ имеет «подпапку» КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. В свою очередь, «подпапка» КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ имеет «подпапки» СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО и НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ. Тем самым рисунок 2, воспроизводя естественно-языковые формулировки информанта, выражает его же утверждение: оказавшись в собственном доме, Терри ощущает одиночество и отсутствие шумов, издаваемых другими людьми. В АКД выстраивание социологом отношений между первичными кодами с помощью вторичных кодов называется категоризацией.

Почему мы предлагаем социологу строить множество отдельных ветвлений, а не создавать единую структуру графа наподобие иерархии папок или кодов? Как сказано выше, социолог при концептуализации с помощью АК вводит одни понятия (термины) относительно других понятий (контекстов). При этом любой контекст должен быть введен социологом до того момента, как он использует его для определения термина. Такое требование предопределения понятия до его использования лежит в основе современных аналитических методов. Например, в компьютерных науках: прежде чем программист сможет использовать переменную в составе оператора, он должен идентифицировать ее в соответствующем блоке.

Организуя концептуальную работу социолога путем создания локальных связей понятий, мы получаем возможность алгоритмического контроля соблюдения им этого общенаучного требования в своих практических концептуальных действиях. Человек лишается возможности вводить свои обозначения *ad hoc*, он оказывается «концептуально обязанным» учитывать то, что уже введено им в качестве обозначений. При этом такая «концептуальная обязанность или ограничение» возникает не в силу чьего-то недоброжелательства, а по причине собственных ранее сделанных «концептуальных заявлений».

При этом ключевое отслеживание, какие понятия могут играть роль контекстов для конкретного термина, осуществляется с помощью алгоритмически конструируемой семантической сети. Для того, чтобы понять, каким образом семантическая сеть позволяет упорядочить концептуальные действия, осуществляемые социологом с помощью ветвлений, рассмотрим основную идею ее построения на основе уже введенных нами локальных связей понятий, показанных на рисунках 1 и 2.

Алгоритмы аналитического кодирования

Итак, мы ввели четыре пары понятий и связали их между собой с помощью двух наглядных графов, которые в зависимости от своих привязанностей читатель волен интерпретировать как: папки-подпапки, категория-подкатегория, часть-целое и т. д. Как при введении пар, так и при их связывании мы руководствовались смыслами информанта и общенаучным требованием предварительного явного указания условий, при которых проводится обозначение этих смыслов. Соблюдение нами этого требования отслеживается алгоритмами АК следующим образом.

Мы выбираем пару понятий, связи которой мы хотим выстроить с помощью алгоритма. В данном случае это — <РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ>. Эта пара единственным образом определяет ветвление, созданное нами в результате первичного связывания (Рис. 1). Алгоритм делает выбранную пару первым (корневым) узлом {РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ, МОЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ} формируемой семантической сети. Далее он рассматривает все ее связи с другими парами, задаваемые ветвлением, созданным нами к моменту запуска алгоритма⁵. В нашем случае таких пар всего

⁵Эти пары еще не входят в состав формируемой семантической сети.

одна — <КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ> (пара 2 на двух рисунках 2 и 3).

Алгоритм готов присоединить эту найденную пару к корневой паре семантической сети, но при соблюдении контекстного и структурного условий. Причем в развитие наших предыдущих рассуждений алгоритм трактует структурное условие более развернуто. Структурным условием алгоритмического включения найденной пары в состав семантической сети служит существование ее контекста в сформированной части графа этой сети.

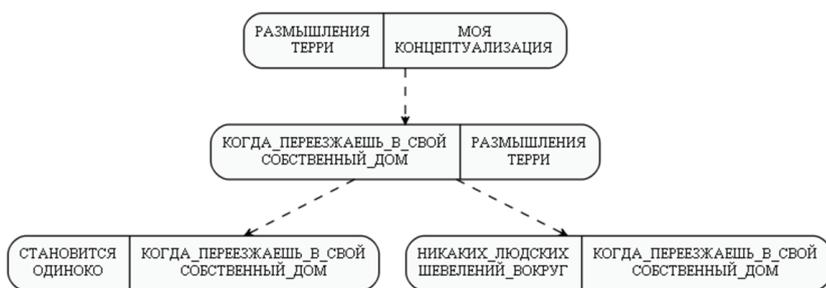


Рис. 3. Алгоритмическое связывание двух ветвлений: простейший случай генерации семантической сети

В нашем случае это условие выполняется, т. к. РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ — это как раз одно из понятий корневого узла. Поэтому сеть автоматически обретает второй узел {КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ} (см. рис. 3).

Теперь алгоритм проверяет связи пары <КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ> только что присоединенного узла с другими введенными нами парами. Эти связи на данном этапе нашей концептуализации текста Терри задаются единственным ветвлением, показанном на рисунке 2. С помощью двойных обозначений в качестве «подпапок» для «папки» <КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ> в этом ветвлении указаны две пары <СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО, КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ> и <НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ>. Вновь перед тем, как присоединить каждую из этих пар в качестве нового узла

формируемой семантической сети, расположенного ниже только что созданной второй вершины {КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕРРИ}, алгоритм проверяет, присутствует ли контекст присоединяемой пары в уже построенной части семантической сети⁶.

Вновь оказывается, что один и тот же контекст КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ уже присутствует во втором построенном узле семантической сети. Поэтому ко второму узлу автоматически присоединяются два новых узла {СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО, КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ} и {НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ}. Полученный результат показан на рисунке 3.

Обратим внимание, что алгоритм работает в соответствии с указанным общенаучным требованием: он проверяет, присутствует ли уже в результатах концептуализации тот контекст, с помощью которого пользователь определяет понятие в составе очередного узла семантической сети. Упорядоченность существования понятий во времени для пользователя воспроизводится в ходе его работы (см. выше, как мы строили понятия и их локальные связи). Алгоритм, в свою очередь, эмулирует эту упорядоченность за счет семантической сети, генерируемой им по результатам текущей работы пользователя.

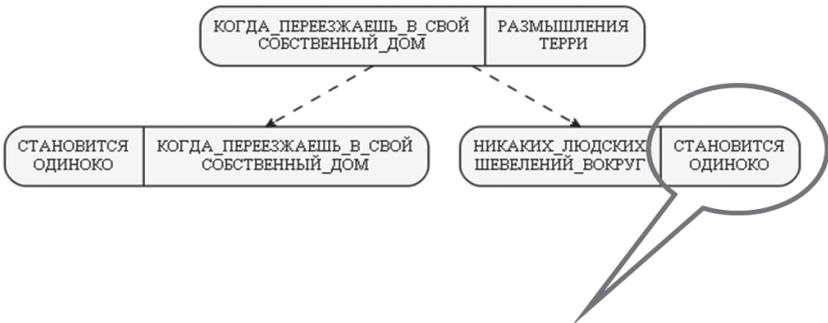


Рис. 4. Ветвление с парой понятий, контекст которой не согласуется со структурой формируемой семантической сети

⁶ Точнее, проверяется не вся построенная часть семантической сети, создаваемой в виде дерева, а только та ее ветка, для которой проводится алгоритмическое присоединение рассматриваемого узла.

В случае, если пользователь в ходе своей аналитической работы отклонится от правила включенности контекста двойного обозначения в сформированную часть семантической сети, то это скажется на структуре последней. Например, если ветвление, показанное на рисунке 2, преобразовать в ветвление рисунка 4 (в паре 4 рисунка 2 контекст КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ заменен на контекст СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО), то после соответствующей автоматической генерации графа, он будет иметь вид, показанный на рисунке 5. Пара <НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО> не войдет в состав семантической сети, т. к. контекст СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО не представлен в построенной части графа на момент присоединения этой пары.

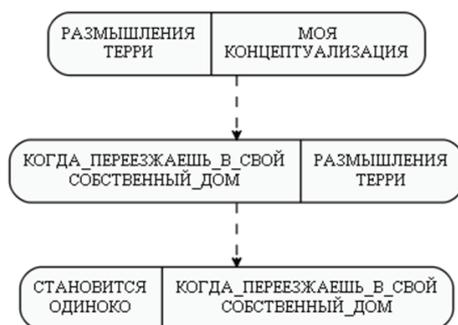


Рис. 5. Алгоритмическое связывание ветвлений: пара <НИКАКИХ ЛЮДСКИХ ШЕВЕЛЕНИЙ ВОКРУГ, СТАНОВИТСЯ ОДИНОКО> отсеяна из-за структурной несогласованности контекста (ср. рис. 3)

Как видно из наших построений, алгоритмическая проверка двойного кодирования относится только к аналитическим действиям социолога и никак не отвечает на вопрос, насколько свидетельства информанта соотносятся с реальностью, анализируемой исследователем. Фактически проверяется связность собственных аналитических конструкций социолога.

Результат кодирования в виде семантической сети

Пояснив основную идею алгоритмов АК, генерирующих семантические сети по результатам двойного кодирования, закончим

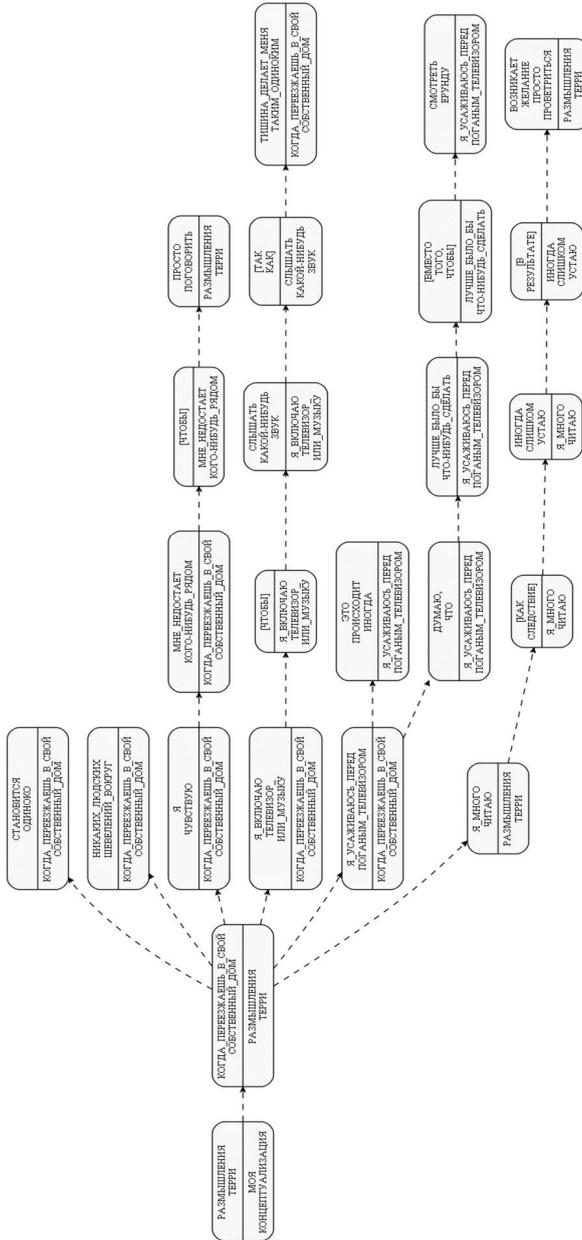
первичное двойное кодирование и локальное связывание его результатов для текста Терри. В целях экономии места статьи полученный итог предьявлен по следующим ссылкам: множество всех введенных нами понятий, называемое словарем (ГКООМ Словарь) и множество всех созданных нами ветвлений, называемое тезаурусом (ГКООМ Тезаурус).

Исходный текст и алгоритмически сгенерированная семантическая сеть свидетельства Терри, выполненная по результатам нашей концептуализации этого текста, показана на рис. 6. Фактически на рисунке представлена одна из многих возможных концептуализаций текста Терри. Каждая из них возникает на основе принятия автором концептуализации явных или неявных допущений. Скажем, одним из наших допущений было использование в качестве аналитических обозначений собственных формулировок информанта. Выбор допущений полностью относится к компетенции аналитика. Роль АК состоит в контроле связности результатов концептуализации, получаемых аналитиком в рамках допущений, принятых им самим.

Из рисунка видно, что граф семантической сети формируется алгоритмами АК в виде дерева, составленного из пар понятий. Такой вид наглядно демонстрирует цепочки естественно-языковых рассуждений, фиксируемых в тексте информанта. При интерпретации этих рассуждений полезно иметь в виду наше исходное толкование обозначений с помощью пар. Первое понятие в узле — это термин или традиционный первичный код. Второе понятие — это контекст, т. е. обозначение условий или областей существования термина, зафиксированных нами на основании слов информанта.

Таким образом, в терминах современного АКД построенная нами семантическая сеть может трактоваться как первичное кодирование, выполненное с помощью словесных обозначений самого информанта. Но с принципиальным отличием — указанием областей существования кодов с помощью самих кодов. Это отличие обеспечивается функционированием принципиально нового механизма связывания аналитических обозначений, отсутствующим в современном АКД.

В связи с интерпретацией построенного графа в виде цепочек рассуждений информанта поясним еще одну его особенность. Наряду с формулировками информанта мы использовали собственные обозначения, которые играют роль языковых связок (служебных слов), обеспечивающих для носителя языка «гладкость» переходов между отдельными аспектами ситуаций, которые мы подсмотрели у Терри.



Когда ты пережжашь в свой собственный дом, то тебе становится одиноко. Никаких людских шевелений вокруг. Я чувствую, что мне не хватает кого-нибудь рядом, чтобы просто поговорить. Я включаю телевизор или музыку, для того чтобы слышать какой-нибудь звук, тишина делает меня таким одиноким. Иногда я усаживаюсь перед потаным телевизором и думаю, что лучше было бы сделать вместо того, чтобы смотреть эту ерунду. Я много читаю, но иногда слишком устаю, и возникает желание просто поветрвиться.

Рис. 6. Семантическая сеть, сгенерированная в человеко-машинном режиме по свидетельству информанта

К числу таких понятий-связок мы отнесли ЧТОБЫ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ, КАК СЛЕДСТВИЕ, ТАК КАК. Все они показаны на графе в квадратных скобках.

Обсуждение

Главным инструментальным достоинством АК являются структурные механизмы, которые, с одной стороны согласно традиции АКД, позволяют социологу кодировать свидетельства информантов с помощью естественно-языковых обозначений (кодов). С другой стороны, расширяют инструментарий социолога, давая в его распоряжение возможность устанавливать между кодами специфические отношения, доказавшие свою эффективность в компьютерных науках — модульность, видимость, полиморфизм и другие.

Компьютерные инструменты АК

Визуализация. Хотя АК предоставляет пользователю инструментальные возможности современного программирования, но от социолога не требуется трудоемкого обучения формальному синтаксису. Все связи между аналитическими единицами АК — понятиями — формируются пользователем непосредственно в виде графов. Результат работы человека также представлен наглядно — семантической сетью.

Модульность. Семантическая сеть, получаемая социологом как результат концептуализации свидетельства информанта, имеет модульную организацию. В качестве модуля мы рассматриваем ветвление, структура которого определяет для любого понятия его существование в семантической сети. Описанная модульная организация инструмента кодирования лежит в основе других отличительных аналитических возможностей АК, делающих его похожим на программирование.

Компиляция. Семантическая сеть представляет собой единую структуру знания, отдельные аспекты которого сообщаются информантами и аналитически фиксируются социологом. Говоря формально, социологическое знание, получаемое с помощью АК, алгоритмически компилируется в виде графа специального вида на основании множества отдельных ветвлений.

Социологические традиции АК

АКД был придуман для ассистирования социологу в его полевой работе с информантами. Существенной особенностью полевой рабо-

ты является применение как социологом, так и информантами естественно-языковых высказываний в качестве описаний социального явления. Продолжая эту традицию концептуализации человеческих мнений, высказываемых информантами в привычной словесной форме, инструментальные средства АК построены полностью на естественно-языковых обозначениях в качестве основы своего аппарата.

Алгоритмы АК не используют операций с числовыми значениями. Алгоритмы АК представляют собой средства согласования аналитиком естественно-языковых высказываний, работающими на принципах модульной организации отношений между этими высказываниями. Для алгоритмов АК не важно, кто является автором высказываний — социолог или его информанты.

Масштабируемость семантической сети

Для словесной детерминации вводимых понятий мы использовали формулировки Терри. Каждая из этих формулировок может быть подвергнута дальнейшей детализации, исходя из нашего человеческого понимания слов информанта. Например, КОГДА ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ В СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ может быть уточнено за счет введения понятий ДОМ, КОГДА, ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ, СВОЙ и других. АК позволяет выполнить такую детализацию с помощью тех же приемов, которые описаны в статье.

Оперирование сетью практически не зависит от ее объемов. При создании сети любого объема пользователь оперирует отдельными структурами не сложнее двухуровневого графа с ясной локальной смысловой интерпретацией. Для алгоритмов не имеет значения, какое число таких структур породит пользователь, выражая требуемую ему семантику.

Оценивание результатов АК

Результатом концептуализации свидетельств информантов с помощью инструментов АК является семантическая сеть специального вида. Наличие исходного текста и семантической сети, все обозначения которой представляют собой естественно-языковые высказывания, позволяет любому носителю языка оценить, насколько социолог преуспел в аналитическом воспроизведении смыслов информанта. В частности, читатель имеет такую возможность относительно результатов нашей концептуализации текста Терри.

Заключение

АК является новым оригинальным аналитическим аппаратом, способным в случае своей полноценной программной реализации в составе современных пакетов АКД принципиально расширить их ассистирующие возможности.

Развитие аналитического аппарата АК в направлении создания средств типизации, прототипирования, полиморфизма, командной работы и других инструментов, известных в программировании, создает возможности разработки новых методов управления знаниями, ориентированных на моделирование социальных процессов, описываемых их участниками на естественном языке.

Источники

ГКООМ (2018) // Сайт проекта ГКООМ [электронный ресурс]. Дата обращения 23.09.2019. URL: <http://coknowledge.ru/materials/>.

Каныгин Г. В., Полтинникова М. С. Контекстно-ориентированные онтологические методы в социологии // Труды СПИИРАН. 2016. Вып. 48. С. 107–124.

Каныгин Г. В., Полтинникова М. С., Корецкая В. С. Опыт построения социального знания на основе компьютерных онтологических методов // Социологический журнал. 2017. Том 23. № 3. С. 25–41.

ГКООМ Словарь. Дата обращения 23.09.2019. URL: <http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2018/06/RussianDictionary.txt>

ГКООМ Тезаурус. Дата обращения 23.09.2019. URL: <http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2018/06/RussianThesaurus.doc>.

Онторедатор Diagogue (2018): Графовые контекстно-ориентированные онтологические методы: программная реализация // Сайт проекта ГКООМ [электронный ресурс]. Дата обращения 23.09.2019. URL: http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2017/02/GKOOOM_Program.pdf.

Bazeley P. (2012). Regulating qualitative coding using QDAS? *Sociological Methodology*, 42(1), 77–78.

Charmaz K. (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructive Methods. In Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, 2nd edition. Thousand Oaks, Ca.: Sage (pp. 509–535).

Evers J. C. (2018). Current issues in qualitative data analysis software (QDAS): A user and developer perspective. *The Qualitative Report*, 23(13), 61–74. Retrieved from <http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss13/5>

Graphviz (2018) — graph visualization software. Accessed 12.09.2018. <https://www.graphviz.org/>.

Junker, A. (2012) Optimism and Caution Regarding New Tools for Analyzing Qualitative Data// Sociological Methodology, 42(1):85–7.

Kelle, U. (1997) Theory Building in Qualitative Research and Computer Programs for the Management of Textual Data, Sociological Research Online, 2(2). Accessed 12.09.2018. URL:<<http://socresonline.org.uk/2/2/1.html>>.

KWALON (2016) Conference 2016: Reflecting on the future of QDA Software: Chances and Challenges. Accessed 12.09.2018. <<http://www.kwalon.nl/about-kwalon>>.

La Pelle, N. (2004) Simplifying Qualitative Data Analysis Using General Purpose Software Tools, Field Methods, 16(1), pp. 85–108.

Lewins, A., Silver, C. (2007) Using Qualitative Software: A Step-by-Step Guide. London: Sage.

MaxQDA: Accessed 12.09.2018 <https://www.maxqda.com/qualitative-data-analysis-software>

Online QDA (2018). Accessed 12.09.2018. <http://onlineqda.hud.ac.uk/>.

Pierre, E. St., Jackson, A. Y. Qualitative Data Analysis After Coding // Qualitative Inquiry, 2014, Vol. 20(6) 715–719.

Quirkos: Accessed 12.09.2018 <https://www.quirkos.com/learn-qualitative/qualitative-analysis-software.html>

St John, W; Johnson, P (2000). "The pros and cons of data analysis software for qualitative research". Journal of Nursing Scholarship. 32 (4): 393–7.

Strauss, A. L. Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, 1987.

Terry text (2018): Accessed 12.09.2018. http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/phpechopage_titleOnlineQDA-Examples_QDA.php

Tesch, R. (1990). Qualitative Research: Analysis types and software tools. New York: The Falmer Press.

Thompson, R. (2002) Reporting the Results of Computer-assisted Analysis of Qualitative Research Data [42 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], May, 3(2). Accessed 12.09.2018. <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/864/1878>.

Top 16 Qualitative Data Analysis Software. Accessed 21.01.2018. <https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-qualitative-data-analysis-software/>.

Wolski, U. (2018). The history of the development and propagation of QDA software. The Qualitative Report, 23(13), 6–20. Accessed 12.09.2018. <http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss13/2>

References

GCOOM (2018) // Site of the project GKOOM [electronic resource]. Accessed 23.09.2018. URL: <http://coknowledge.ru/materials/>.

Kanygin G., Poltinnikova M. (2016) Context-oriented ontological methods in sociology [Kontekstno-orientirovannye ontologicheskie metody v sotsiologii]. Proceedings of SPIIRAS v. 48: 107–123 (in Russian).

Kanygin G., Poltinnikova M., Koretskaya V. (2017) Experience in Building Social Knowledge Based on Computer Ontological Methods [Opyt postroeniya sotsial'nogo znaniya na osnove kompyuternyh onotologicheskyyh metodov]. Sociological journal. 2017. V. 23. № 3: 25–41 (in Russian).

GKOOO Dictionary. Accessed: 23.09.2019. URL: <http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2018/06/RussianDictionary.txt> (in Russian).

GKOOO Thesaurus. Accessed: 23.09.2019. URL: <http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2018/06/RussianThesaurus.doc> (in Russian).

Bazeley, P. (2012). Regulating qualitative coding using QDAS? Sociological Methodology, 42(1), 77–78.

Ontoeditor Diagogue (2018): Graph context-oriented ontological methods. // Site of the project GKOOO [electronic resource]. Accessed: 23.09.2019. URL: http://coknowledge.ru/wp-content/uploads/2017/02/GKOOO_Program.pdf (in Russian).

Charmaz, K. (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructive Methods. In Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research, 2 nd edition. Thousand Oaks, Ca.: Sage (pp. 509–535).

Evers, J. C. (2018). Current issues in qualitative data analysis software (QDAS): A user and developer perspective. The Qualitative Report, 23(13), 61–74. Retrieved from <http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss13/5>

Graphviz (2018)– graph visualization software. Accessed 12.09.2018. <https://www.graphviz.org/>.

Junker, A. (2012) Optimism and Caution Regarding New Tools for Analyzing Qualitative Data// Sociological Methodology, 42(1):85–7.

Kelle, U. (1997) Theory Building in Qualitative Research and Computer Programs for the Management of Textual Data, Sociological Research Online, 2(2). Accessed 12.09.2018. URL: <http://socresonline.org.uk/2/2/1.html>.

KWALON (2016) Conference 2016: Reflecting on the future of QDA Software: Chances and Challenges. Accessed 12.09.2018. <http://www.kwalon.nl/about-kwalon>.

La Pelle, N. (2004) Simplifying Qualitative Data Analysis Using General Purpose Software Tools, Field Methods, 16(1), pp. 85–108.

Lewins, A., Silver, C. (2007) Using Qualitative Software: A Step-by-Step Guide. London: Sage.

MaxQDA: Accessed 12.09.2018 <https://www.maxqda.com/qualitative-data-analysis-software>

Online QDA (2018). Accessed 12.09.2018. <http://onlineqda.hud.ac.uk/>.

Pierre, E. St., Jackson, A. Y. Qualitative Data Analysis After Coding // Qualitative Inquiry, 2014, Vol. 20(6) 715–719.

Quirkos: Accessed 12.09.2018 <https://www.quirkos.com/learn-qualitative-qualitative-analysis-software.html>

St John, W; Johnson, P (2000). "The pros and cons of data analysis software for qualitative research". *Journal of Nursing Scholarship*. 32 (4): 393–7.

Strauss, A. L. *Qualitative Analysis for Social Scientists*, Cambridge University Press, 1987.

Terry text (2018): Accessed 12.09.2018. http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/phpechopage_titleOnlineQDA-Examples_QDA.php

Tesch, R. (1990). *Qualitative Research: Analysis types and software tools*. New York: The Falmer Press.

Thompson, R. (2002) Reporting the Results of Computer-assisted Analysis of Qualitative Research Data [42 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal]*, May, 3(2). Accessed 12.09.2018. <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/864/1878>.

Top 16 Qualitative Data Analysis Software. Accessed 21.01.2018. <https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-qualitative-data-analysis-software/>.

Wolski, U. (2018). The history of the development and propagation of QDA software. *The Qualitative Report*, 23(13), 6–20. Accessed 12.09.2018. <http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss13/2>

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

DOI: 10.25990/socinstras.pss-10.414k-p077

С. В. ЛУРЬЕ

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ БРАКИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СЦЕНАРИИ

Статья посвящена рассмотрению межэтнической брачности в современной России как социокультурного явления. Изучаются и истолковываются его динамика и особенности, как сближающие, так и противопоставляющие его феномену широко распространенных межнациональных браков в СССР. Задачей статьи было определить, каким образом национально-смешанные браки соотносятся с национальным сценарием современной России, вписываются ли в него, являются ли ценностно одобряемым и культурно обусловленным явлением. С этой целью анализируется статистика межэтнических браков по России и ее регионам, данные опросов общественного мнения и существующая вокруг феномена современной межэтнической брачности мифология, выраженная как в СМИ, так и наглядно проявляющаяся во многих научных исследованиях, провоцируя искажение фактов. На этой базе в статье представлена социокультурологическая трактовка изучаемого явления.

Ключевые слова: межэтнические браки, межэтнические отношения, социокультурный сценарий.

Межэтнические семьи остаются заметным фактом жизни современной России. Доля их лишь немного ниже доли национально-смешанных семей в последние годы существования РСФСР. Но поменялся контекст, в котором они существуют. Если ранее они были вписаны в советский социокультурный сценарий в качестве значимой составляющей и пропагандировались, то сегодня им особого внимания не уделяется (разве что в СМИ в качестве «страшилки», когда пугают засильем мигрантов) или отдельных региональных научных центрах в качестве продолжения по инерции исследований, начатых еще в советскую пору. Но в этих исследованиях уже нет ощущения социального заказа, обращения к важной и ценностно осознаваемой теме. Нет и новой научной и культурной парадигмы, в которую эти исследования

встраиваются. Между тем, поскольку в Российской Федерации доля межэтнических браков продолжает оставаться достаточно заметной, важен вопрос, что представляют собой межэтнические браки в России сейчас, в какой социокультурной сценарий они встроены, что так распространены, имеют ли самостоятельное культурное значение.

Современные исследователи межэтнической брачности в один голос говорят о диагностическом и прогностическом значении статистики национально-смешанных браков в том или ином регионе для оценки состояния там межэтнических отношений. Об этом пишут И. А. Макарова (Макарова 2013: 2), Е. М. Галкина (Галкина 1993: 12), Г. Р. Столярова (Столярова 2004: 3), Т. Л. Трифонова (Трифорова 2008: 2), А. А. Минасян (Минасян 2013: 4), М. А. Зейтунцян (Зейтунян 2006: 12–13), Э. С. Асанова (Асанова 2009: 5), Л. А. Делова (Делова 2001: 7) и другие. Действительно, точка зрения очень распространенная! Применительно к российской действительности, по словам З. Л. Сизоренко, рост количества межэтнических семей «противоречит некоторым декларациям, характеризующим состояние современной семьи как кризисное, а межэтнические отношения как напряженные» (Сизоренко 2007: 140).

Но представляется, что рост межэтнической брачности отражает не сами по себе хорошие межэтнические отношения. На распространение этнически смешанной брачности влияют многие факторы, прежде всего этнокультурные. Так, например, в Дагестане, «несмотря на существующие толерантные межэтнические отношения, все-таки в общественном мнении дагестанских народов превалирует необходимость учитывать этническую принадлежность при выборе брачного партнера» (Шахбанова 2008: 75).

Какие же факторы влияют на долю межэтнической брачности в регионе? Следует выделить факторы культурные, ценностные, этнопсихологические, социальные и социопсихологические, религиозные, влияние этностереотипных представлений о семье и ментальных особенностей народов. Необходимо подчеркнуть, что на вероятность образования межэтнических семей влияют и особенности миграции населения, наличие языка межнационального общения, ассимиляционные тенденции в обществе, политика государства в межнациональной сфере, идеология и национальный проект, который реализуется в стране, а также стихийно складывающиеся народный, низовой, сценарии межнациональных отношений.

Обратимся, прежде всего, к влиянию на динамику межэтнической брачности государственной идеологии и связанных с ней ассимиляционных тенденций. Социалистический период истории нашей страны характеризовался постоянным декларированием межнационального брака как средства укрепления дружбы между народами, что и обуславливало повышенное внимание к этому явлению. Сейчас такой последовательной государственной политики в этой сфере нет, и «институт межнационального брака испытывает дополнительное давление, поскольку, если в советский период отношения между русским и другими народами декларировались как «братские», межнациональное устройство оценивалось как связь «старших и младших братьев», то современный этап основан на принципах суверенитета» (Зейтунян 2006: 17–18), а точнее было бы сказать, на отсутствии ясно выраженных национальных принципов. Ведь основанная на таких принципах «политика государства самым непосредственным образом может влиять на создание межэтнических семей, так и создавать этому препятствия. Если, к примеру, политика государства направлена на консолидацию межэтнических отношений, то межэтнические семьи будут ячейкой, благодаря которой возможно складывание тесных и дружественных отношений. В случае же политической поддержки этнической обособленности людей, существование межэтнических семей будет фактически невозможным. В СССР наблюдался высокий уровень межэтнической брачности, что было обусловлено проводившейся советским правительством политикой, направленной на развитие дружественных межэтнических отношений. На такой социальной основе в стране беспрепятственно складывались межэтнические браки, причем практически у всех народов» (Бокова 2007: 107). В начале же 1990-х годов появились новые тенденции, «негативные процессы, вызванные распадом СССР, усиление этнонационалистических тенденций способствовали тому, что в общественном сознании сформировалось отрицательное отношение к самой идее заключения смешанных браков» (Шахбанова 2008: 74).

В 1990-е годы исчезла советская идентичность, и для многих единственной устойчивой самоидентификацией стала этническая. «Рост идентификации с наиболее стабильной группой — этносом — в период потери казавшихся незыблемыми факторов идентификации — с советским народом, коллективом и пр. — является фактором, детерминирующим отрицательную динамику межэтнической брачности. ... В условиях идентификации с этнической группой отказ от

межэтнического брака является фактором включенности личности в референтную группу» (Делова 2001: 15). Актуализация элементов национального самосознания людей часто обуславливала отрицательную динамику межэтнической брачности. Например, на Северном Кавказе «этнически смешанные семьи оказались лишены социальной основы, т. к. с идеологической либерализацией и переориентацией на этнические ценности они стали не востребованными» (Верещагина 2003: 16). Данная тенденция, похоже, не является ситуативной, а оказывает долговременное влияние: «Дети, выросшие в обстановке межэтнической напряженности, а подчас и ненависти, в которой этническая принадлежность играет большую, а порой и главную роль, в большинстве своем не будут вступать в брак с представителем другого этноса. События последних десятилетий, отмеченные высокой степенью конфликтности на почве межэтнических отношений, самым негативным образом повлияли и будут продолжать влиять на динамику межэтнической брачности. Численность смешанных браков будет уменьшаться, независимо от состояния межэтнических отношений. Потребуется немало времени, чтобы приостановить этот процесс. Прогноз же на ближайшее будущее не внушает оптимизма, поскольку тенденция падения межэтнической брачности на Северном Кавказе будет сохраняться в ближайшие десятилетия, так как подорвана сама основа для заключения межэтнических браков» (Смешанная семья... 2014).

Противоположной тенденции, кажется, неоткуда и взяться. Хотя в современной России межэтнические отношения стали относительно малоконфликтными, тема межэтнической брачности в ее идеологическом поле отсутствует. Это, кстати, выражается и в отсутствие заметного интереса к теме этнически смешанной брачности в научной литературе. Имеющиеся в подавляющем большинстве касаются не общезначимых аспектов темы, а особенностей ее преломления в некоторых отдельных регионах. Исследователи отмечают, что «их (межэтнических браков) положение в обществе отличается от их положения в СССР», и в отличие от СССР «их состояние и проблемы пока не стали предметом внимания социологов» (Хачатрян, Чадова 2016: 129). Как отмечает А. А. Шагян, «в современных условиях интерес к проблематике межэтнических браков и этически смешанных семей в России значительно снизился. Если сравнивать интенсивность обсуждений и дискуссий в научных кругах, скажем в 1980-ые года и сегодня, то мы вынуждены отметить тенденцию снижения степени освещенности данной темы» (Шагян 2015). Да, в научной литературе

внимание к теме этнически смешанной брачности относительно незначительно, но вот в ряде «российских СМИ тема межэтнических браков вызывает устойчивый повышенный интерес, что неудивительно в свете обострившихся проблем миграции. Однако, как правило, в СМИ попадает только ситуативная информация такого рода, что сильно смазывает и даже деформирует картину» (Чеснокова 2012).

Если в России нет специфической идеологии, стимулирующей межэтническую брачность, в современном мире есть общие тенденции, в рамках которых существуют межэтнические семьи: прежде всего их распространение вызвано глобализацией и секуляризацией. «Особую роль в развитии межэтнической брачности сыграли процессы секуляризации, изменения ценности религии в сознании современного человека» (Зейтунян 2006: 4). В какой-то мере на формирование советского феномена межэтнической брачности влияла безрелигиозность советского общества, атеизм был общесоветской идеологией, стимулирующей распространение национально-смешанных браков. «Межконфессиональные браки так не назывались, потому что был период атеизма, было толерантное отношение к своим, а своим считался советский человек» (Маховская 2011). В контексте общих глобализационных и секуляристских тенденций сегодня «численность национально-смешанных браков в различных регионах России находится в прямой зависимости от степени сохранности в конкретных регионах элементов традиционного образа жизни» (Шагян 2015) — традиционность общества является препятствием значительного распространения межэтнической брачности. Но традиционность многих обществ сегодня возрастает. Сейчас, когда российское общество преодолело атеизм и возродило, по крайней мере, некоторые черты традиционной культуры народов, не может быть речи об этнокультурной гомогенности общества, как бы о том ни мечтали теоретики-глобалисты. Это проявляет себя так: по данным ВЦИОМ 2010 года, неодобрение у россиян вызывают браки людей с различной религиозной принадлежностью: почти половина опрошенных (48%) относится к этому негативно (*ВЦИОМ 2010*).

В контексте отсутствия в современном российском обществе идеологии, стимулирующей межэтническую брачность, каково отношение к ней простых россиян? Ответить на этот опрос однозначно нельзя. Результаты опросов российской молодежи об отношении к этнически смешанным бракам, проведенных разными исследователями, показывают сильные колебания положительного или отрицательного

отношения. Так, например, исследователи из Института Социологии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации в марте-апреле 2009 года выявили терпимое восприятие межэтнических браков среди молодых россиян, и, прежде всего, у русских. Почти 58% юношей и девушек не возражают против возможного брака с людьми другой национальности. Опрос в Твери показал, что 80% опрошенных молодых людей допускают межэтнические браки (Николаева, Фёдорова 2013: 213). Согласно данным Научно-исследовательского центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан 2008 года, положительно к межэтническому браку относятся 77,6% русских и 66,3% татар в Татарстане (опрашивались молодые люди до 30 лет) (Особенности межэтнического брака... 2009). По результатам опроса в Омске и Екатеринбурге, проведенного А. Е. Коптяевой, известно, что 31% опрошенных девушек в Омске относятся к межэтническим бракам положительно, еще 31% — нейтрально, 19% положительно при определенных условиях, еще 19% — негативно. Возможность подобных союзов для себя допустили 44%, для 50% подобный союз неприемлем, 6% затруднились с ответом. Среди омских юношей положительно относятся к межэтническим бракам 50%, негативно — 25%, выразили абсолютное безразличие к данному явлению еще 25%. 50% допустили для себя возможность межэтнического брака, еще 50% выразили отказ. Среди девушек Екатеринбурга 32% отзывались о межэтнических браках одобрительно, 4% положительно при соблюдении ряда условий, 6% — негативно, 55% выразили нейтральное отношение, 3% затруднились. Но 93% так или иначе допускают для себя межэтнический брак, 4% — категорически против, 3% не дали четкого ответа. Среди екатеринбургских юношей положительно относятся к межнациональному браку 19%, отрицательно — тоже 19% опрошенных, подавляющее большинство — 62% — относятся «никак». Еще 5% указали, что могут позитивно или нейтрально охарактеризовать межэтнический брак в случае единства религии супругов (Коптяева 2016: 253–266). Такой разницей в цифрах показывают, что тема межэтнических браков малозначима для современной российской молодежи. Особенно показательно в этом отношении исследование Е. С. Токаревой, проведенное в Курске среди студентов Юго-Западного университета. Она задавала вопрос о том, как молодые люди считают, одобряет ли российское общество межэтнические браки, а затем ставился вопрос о том, одобряют ли такие браки сами молодые люди. По мнению опрошиваемых,

современное общество не одобряет межэтнические браки (48%), лишь около 30% респондентов придерживается противоположного мнения, 10% затрудняются ответить. Что касается самих респондентов, то они, в свою очередь, скорее одобряют межэтнические браки. 34% студентов склонны относиться скорее положительно к межэтническим бракам, 24% — заняли позицию полного одобрения таких браков, 20% — не одобряют межэтнические браки и 14%, скорее относятся отрицательно, 8% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 64% опрошенных готовы вступить в такого рода брак, 36% — нет. При этом Токарева приходит к выводу, что в целом место межэтнического брака по отношению к моноэтническому в системе ценностей молодежи занимает периферийные позиции. Существенная часть студенческой молодежи ориентирована на мононациональный брак, межэтнический брак для большинства молодых людей и девушек является, приемлемым, однако менее желательным (Токарева 2013).

Итак, мы видим, что межэтнические браки вполне допускаются сегодняшним складывающимся национальным сценарием, но являются ли они его элементом? Однозначно, они не являются инструментом сближения между народами, как было в советскую эпоху. Скорее, приятие национально-смешанной брачности — элемент парадигмы упрочения российского как совокупности индивидов разной национальной принадлежности. Это означает, что на межэтническую брачность будут влиять не «скрепы» между народами, которые связаны с ценностями и идеалами, а только комплементарность народов на поведенческом уровне, приятие бытовых сценариев поведения друг друга. Это выражается в отсутствии каких-либо общих тенденций в динамике межэтнической брачности в России и в противоречивости таких тенденций в разных регионах. Более того, следует предположить, что численность национально-смешанных браков будет расти или уменьшаться по логике не понятной на поверхностный взгляд и объяснимой некоторыми особенностями этнопсихологической конституции народов, которая включает комплекс психологически комфортных действий, порой вне зависимости от их идеального значения и даже ценностной подоплеку. Очевидно, именно это мы и видим в разнонаправленных цифрах брачной динамики разных народов России.

Конечно, хочется представить некоторые общие тенденции национально-смешанной брачности. Например, так естественно предпо-

ложить, что в 1990-е годы доля межэтнических браков должна была упасть, в связи с обострением национальных отношений в обществе, а в 2000-е — возрасти, в связи с установлением определенной стабильности в стране. Исследователи часто озвучивают эту версию, говоря о том, что после распада СССР «этнополитические процессы повлияли и на динамику межэтнических браков: с начала 90-х годов XX века их число резко пошло на убыль» (Смешанная семья... 2014). «В результате распада СССР в стране усилились центробежные этнополитические тенденции, почти повсеместно происходило обострение межэтнических конфликтов. Подобная политика Российского государства вызвала резкое снижение численности межэтнических браков. Произошел поворот общественного сознания от ценностей интернационализма к национальной обособленности, к возрождению узко традиционных ценностей, культуры и этнической самоидентификации. Следствием этого стал распад многих межэтнической семей, переход к однонациональным семьям», — рассуждает Т. Л. Бокова (Бокова 2007: 102). Хачатрян и Чадова пишут: «Вследствие проводимой новыми суверенными государствами политики стягивания этносов на свою родину распались многие межэтнические браки и семьи. К 1994 г. доля межэтнических семей в семейной структуре общества сократилась до 11,5%. Но в последние годы наблюдается повышение интереса россиян к межэтническим бракам, увеличивается количество межэтнических семей, в них проживает примерно четверть населения РФ» (Хачатрян, Чадова 2016: 127). В этих пассажах, казалось бы, правдоподобных до очевидности, неверно все, кроме цифры 11,5% в 1994 году, которую исследователи приводят со ссылкой на данные микропереписи 1994 года (*Состояние в браке и рождаемость...* 1995: 10–11). Примерно так рассуждают и большинство современных исследователей межэтнической брачности.

Так, казалось, должно было быть, но в реальности все не так однозначно. В 1990-е годы определенное падение доли национально-смешанных пар было вовсе не велико. Отрицательная динамика кажется значительной потому, что ее сравнивают со средней по СССР, тогда как надо брать за контрольную точку долю межнациональных браков в РСФСР. В СССР в 1989 году она составляла 17,5%, но в РСФСР она была ниже — 14,7% (а в 1979 году в РСФСР была еще ниже — 12,3%) (Население СССР 1990: 32). По данным Госкомстата России, к 1994 году доля межэтнических семей в семейной структуре общества сократилась до 11,5%, то есть снижение показателя при

соответствующем более корректном сравнении не кажется таким значительным. В регионах динамика противоречивая.

Действительно, в ряде регионов, например, на Северном Кавказе, доля межэтнических браков снизилась. Так, «на Северном Кавказе с 1980-х годов начался процесс уменьшения доли межэтнических браков, который продолжается по сей день, и, по всей видимости, эта тенденция будет сохраняться очень долго» (Верещагина 2003: 14). Если сравнивать с 1989 годом, то тогда у ингушей было 14% межэтнических браков, а в 2002-м стало 10,2%, у чеченцев было 10%, в 2002-м стало 6,9% (Население России... 2006: 237, 239). Но вот в Адыгее, при том, что исследователи говорят о снижении доли межэтнических браков в 1990-е годы (Делова 2001: 25), в 2004 году, согласно справке Госкомстата республики Адыгеи, этнически смешанных браков было заключено 12% от регистрируемых браков (Зейтунцян 2006: 15), тогда как в 1979 году их было 11,0% (Делова 2001: 24).

Есть регионы, где в 1990-е годы «с началом перестроечных процессов и демократизацией общества, как показывает статистика, наблюдается рост межэтнических семей» (Дудник 2007). Так, З. Л. Сизоренко с удивлением отмечает, что хотя в этот период «казалось бы, количество межэтнических браков должно было бы уменьшаться, однако, как свидетельствуют статистические данные, оно увеличивается. Например, в 1996 году каждый третий ребенок в Башкортостане родился в межэтнической семье» (Сизоренко 1999). По данным переписи 2002 г. доля домохозяйств в Башкортостане, состоящих из лиц разных национальностей, составляет 29,0%. При этом доля лиц, проживающих в национально-смешанных домохозяйствах, не различается кардинально у наиболее многочисленных этносов: русских (31,3%), башкир (31,8%) и татар (39,7%). В 2000 годы доля межэтнических браков там продолжает расти: в 2005 году было заключено 1412 браков между русскими и татарами, в 2010 году эта цифра увеличилась до 3224. В некоторых районах западной части республики доля межэтнических башкиро-татарских браков составляет 30% от общего числа браков (Динисламова, Садретдинова 2014: 63). Рост межэтнической брачности наблюдался и в Хакасии: в 1989-м было 15,8% смешанных браков у мужчин-хакасов и 19,8% — у женщин-хакасок; в 1993-м — 20,1% и 19,7%, соответственно. По данные 2007 года национально-смешанных семей оказалось на 7,9% больше, чем в 1989 году (Кривоногов 2011: 206). В Бурятии, по данным Г. С. Махаровой также «на рубеже 1990-х годов по данным республиканского архива ЗАГС наблюдался

рывок в сторону увеличения смешанных семей» (Махарова 2003: 14). Однако, по данным А. Т. Трифионовой, в Бурятии скорее наблюдается колебательная динамика: совсем небольшое падение уровня межэтнической брачности в начале 1990-х, затем доля межэтнических браков растет вплоть до середины 2000-х, а затем вновь начинает медленно падать. Так по материалам Архива ЗАГС доля таких семей составляла в 1979 году — 10,9%, в 1989 году — 12,3%, в 1994-м — 11,9%, 1999-м — 12,4%, 2004-м — 13,4%, 2006-м — 14,2%, 2010-м — 12,0% (Трифимова 2014: 75). У коми и мордвы межэтническая брачность в 2002 году достигает более чем 40% (а вне пределов своих республик — более чем 50%) (Сороко 2014: 103). Так по подсчетам В. А. Семенова, в республике Коми общее количество студентов университета-потомков от смешанных браков из 1500 опрошенных составило 54%, из них — 42,7% дети от браков коми с русскими или представителями других национальностей (Семенов 2014: 181–184).

Итак, единого сценария межэтнических отношений в России не было, и в регионах разворачивались локальные социокультурные сценарии, которые могли быть связаны и с ускорением распространения межэтнической брачности, а не обязательно с ее снижением¹.

Есть и причина, почему падение доли межэтнической брачности было относительно небольшим. Миграция, вызванная обострением национальных отношений вела не снижению, а к росту доли межэтнических браков, когда речь шла о миграции из республик бывшего СССР русских, которые увлекли за собой и так называемых русскоязычных — русскоговорящих представителей различных советских национальностей. Среди них было и немало национально-смешанных семей, заключенных в городах и селах бывших союзных республик. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчитывалось 23 наиболее многочисленных национальности

¹ Впрочем, тут надо быть осторожным в выводах: статистика — дело тонкое. Не все данные можно сравнивать между собой. Объяснение некоторым непонятным тенденциям в динамике межэтнической брачности дает Д. Г. Бракина, основываясь на данных по Якутии. Она показывает, что «несмотря на увеличение числа межэтнических браков, исследования по специальным методикам, основанным на вычислении теоретической вероятности заключения браков представителями различных национальностей, подтверждают вывод об устойчивом росте эндогамии среди саха (якутов). Аналогичные процессы отмечаются среди титульных этносов и в других регионах Российской Федерации. Усиление эндогамности среди титульных этносов — один из важнейших моментов, выявленных в процессе изучения межэтнической брачности» (Бракина 2005: 81).

с численностью, превышающей 400 тыс. чел., а по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года таких национальностей было лишь 17 (Итоги Всероссийской переписи населения 2004: 166). Главным образом за счет миграционного прироста значительно увеличилась численность армян (с 532 до 1130 тыс. чел.), азербайджанцев (с 336 до 622 тыс. чел.), таджиков (с 38 до 120 тыс. чел.), китайцев (с 5 до 35 тыс. чел.) (Итоги Всероссийской переписи населения 2004: 428).

Следует отметить и такой факт, относящийся к 1990-м годам: обострение межэтнических отношений не обязательно непосредственно сказывается на микроуровне национально-смешанных семей. Так, Т. А. Титова на большой многоступенчатой районированной выборке показала, что национально смешанные семьи в Татарстане очень мало непосредственно реагировали на обострившуюся этническую ситуацию там в 1990-е годы: «Проблемы межэтнических взаимоотношений, этнического самосознания обсуждаются в 47% обследованных русско-татарских и 44% татаро-русских семей. Лишь в 15% опрошенных семей по обсуждаемым проблемам возникают разногласия. ... Проведенные опросы населения показывают, что в 1992 г. существовала определенная напряженность в общественном мнении по вопросам межэтнических взаимоотношений. Между тем, на внутрисемейные отношения разнонациональных супругов существовавшая напряженность влияния не оказывала. ... Мнение (о политических событиях) разнонациональных супругов по многим вопросам в большинстве обследованных семей совпадают» (Титова 1999: 77, 82). Выводам по Татарстану вторят выводы по Бурятии. Там среди опрошенных членов межэтнических семей только 6,5% допустили, что состояние межэтнических отношений в обществе может быть специфической причиной развода у национально смешанной пары (Трифонова 2014: 86). По словам В. В. Гриценко, высказанным в самом начале 1990-х годов, «не подтвердилось предположение о том, что в национально-неоднородных семьях наблюдается большая рассогласованность во взглядах на стандартные ситуации, наличие разноэтнических моделей взаимодействия и повышенная в связи с этим конфликтность» (Гриценко 1991: 61). Однако косвенные факторы — прежде всего, давление внешнего окружения — несомненно влияют на межэтнические семьи: «можно с определенностью сказать, что социально-психологический климат, формирующийся вокруг национально-смешанных семей, является одним из важных факторов, влияющий на отношения супругов в их социальной микросреде» (Гриценко 1989: 20).

В целом в отличие от СССР, где наблюдалось пусть не равномерное у разных народов, но практически у всех поступательное увеличение доли межэтнической брачности, сегодня «в России нет какой-то единой тенденции и процесс этнического смешения, как и в прошлые десятилетия, доминирует отнюдь не повсеместно» (Шагян 2015). Об отсутствии единой тенденции в межэтнической брачности в России говорится и в издании «Население России 2003–2004» (Население России... 2006: 237).

Тем не менее, к 2000-ым годам доля этнически смешанных браков в Российской Федерации растет и достигает уровня 1989 года. По данным переписи 2002 года уже 14,8% населения России проживают в этнически смешанных домохозяйствах (Итоги Всероссийской переписи... 2004: 465). В ежегодном демографическом докладе “Население России. 2003–2004” отмечается, что “этнически смешанные домохозяйства составляют в целом по стране 14,5% россиян. В городах — 15,0%, в селах — 13,3%”. (Население России 2006: 235). По данным переписи 2010 года в интерпретации Е. Сороко этнически разнородных пар в России было только 12% (Сороко 2014: 114).

То есть, к 2010 году межэтнических пар в России стало чуть больше, чем в 1990-е годы, когда по данным микропереписи 1994 годы их было, напомним, 11,5%, и чуть меньше, чем в РСФСР 1989 года, когда их было, напомним, 14,7%. Правда, цифры последних переписей можно сравнивать с цифрами советских переписей или микропереписи 1994 года только приблизительно. Дело в том, что в советское время единицей подсчета была собственно семья, а в современной России — домохозяйство. Сопоставляя цифры, мы подразумеваем, что в одном домохозяйстве только одна брачная пара, и одна брачная пара имеет только одно домохозяйство, что, конечно, не всегда так. Поэтому подсчеты на основании последних переписей не точны. Основываясь на этих приблизительных подсчетах, демографы полагают, что в 2002 году процент русских, состоящих в национально-смешанных браках ниже, чем на тот год в среднем у народов России — всего 11,8% (Население России 2006: 236). По данным Трофимовой, в Европейской части России, на территории основного расселения русских, доля национально-смешанных браков всего 3–5%, хотя эта цифра может быть и не совсем точна (Трифенова 2014: 7).

Как бы то ни было, доля этнически смешанных браков в России, в том числе с участием русских, относительно невелика. Тем интереснее и показательнее, что во вроде бы научной литературе приводятся

совершенно фантастические цифры межэтнической брачности, которые опираются не на данные официальной статистики, а на фантазии журналистов, критическое отношение к которым — редкость. В диссертации Э. С. Асановой мы встречаем совершенно невероятные цифры: «В 1998 г. в результате некоторой стабилизации положения в стране наблюдается фиксирование числа межэтнических браков на определенном уровне. ... В 2000 году в России примерно 23% населения составляли межэтнические семьи. В 2004 году их стало уже 37%» (Асанова 2009: 15). Подобные цифры приводит и А. Т. Трифонова со ссылкой на сайт компании Monitoring.ru, открыть который нам не удалось (Трифорова 2014: 74). Конечно, такой резкий рывок в доле межэтнических браков в принципе невозможен, изменения тут гораздо более плавные. Но цифра «37%» кочует от источника к источнику².

Распространенность таких, основанных на домыслах данных свидетельствует, что отношение к межэтнической брачности в России значительно мифологизировано и отражает не подлинное состояние дел, а связанную с ними эмоцию, в частности, неприятие многими миграции представителей народов Кавказа, а также бывших союзных республик в города России. Такая фальсификация цифр и в научной литературе, заслуживает особого внимания. Что до СМИ, то там встречается цифра и в 58% для межэтнических браков в России (Межэтнические браки: исключение или норма... б. г. и., Межэтнические браки вредны... б. г. и., Меняется картина межэтнического брака... б. г. и.). Что до Москвы, то приводится цифра и в 62% (Количество межэтнических браков... б. г. и.). А потому и в научной литературе делается вывод: «каждая пятая такая пара — православно-мусульманская. По прогнозам ученых, к 2025 году доля русских в Москве может уменьшиться до 73% (сейчас — 89%). Зато заметно возрастет доля народов Закавказья, Средней Азии и Северного Кавказа» (Трифорова 2014: 74).

Определенные основания для таких опасений есть, но не преувеличены ли они? Реальные цифры браков россиян с мигрантами из Средней Азии не должны бы вызывать особой тревоги перед нежелательными ассимиляционными процессами. По данным Г. С. Солодовой, доля мигрантов, находящихся в межнациональном браке, не превышает

² Нам удалось предположительно выяснить, откуда взялась «гуляющая» в том числе и по научной литературе цифра 37% для межэтнических браков. Настолько возросло за период с 1993 года по 2002 год число браков с иностранными партнерами в Московском дворце бракосочетаний — единственного в Москве, который осуществляет регистрацию браков с иностранными гражданами (Корнеева 2006: 14).

8% (Солодова 2011: 47), хотя эта цифра вряд ли основана на анализе репрезентативной выборки. Но по заслуживающим высокое доверие данным Е. Сороко за восьмилетний межпереписной период с 2002 по 2010 год в России доля состоящих в смешанных браках киргизов, таджиков и узбеков заметно сократилась, что «может быть объяснено значительным увеличением числа полных моноэтнических семей, прибывших в качестве трудовых мигрантов из соответствующих стран, по сравнению с их числом в предшествующий период. Так, если общее число киргизских супружеских пар за 8 лет выросло в 2,6 раза, то моноэтнических пар — в 3,7 раза. В течение рассматриваемого периода число моноэтнических узбекских пар увеличилось в 3,4 раза, а смешанных супружеских пар выросло лишь на 21%, что и послужило причиной снижения их доли во всех семьях с женой-узбечкой» (Сороко 2014: 99). Если смотреть по процентам, то по данным архивов ЗАГС в Москве, начиная с 2002 года, больше всего межэтнических браков (то есть браков между гражданами разных стран) было заключено в 2007 году — 14,3% от общего числа браков (большинство их составляют русско-украинские и русско-белорусские браки). В Петербурге максимум межэтнических браков пришелся тоже на этот год. При этом, в Петербурге количество межэтнических браков из года в год остается вдвое меньше, чем в Москве. Так, в пиковом 2007 году таких браков в Петербурге было заключено 7,3% от общего количества (в Москве, напомним, — 14,3%). В 2011 году в Москве межэтнических браков было 10,9%, а в Петербурге — 5,4% (Чеснокова 2012). Статистика показывает, что, вопреки бытующим представлениям, количество межэтнических браков и в Москве, и в Санкт-Петербурге в течение последних лет снижается, а не растет. Если исходить из того, что заключение межэтнических браков «свидетельствует об адаптации мигрантов по типу интеграции, о достижении социальной адекватности в новой культурной среде в отличие от «неуспешной» адаптации — адаптации по типу психологической защиты или изоляции в новой культуре» (Делова 2001: 24–25), то можно сказать, что мигранты в России адаптируются слабо. Это отдельная проблема, лишь косвенно относящаяся к проблеме межэтнической брачности. Для нас же важнее сопровождающий национально-смешанные браки миф, ибо он свидетельствует о том, в какой социокультурный сценарий они вписываются.

Что лежит в основе взгляда на межнациональную брачность, который до сих пор лежит в основе российского национального сценария?

Конечно, во многом он основан на советском наследии, «свой вклад вносит и общее советское прошлое — образование, общий язык, установки на жизнь помогают удерживать межэтнические браки» (Маховская 2011). Хотя ценностно за время, прошедшее с распада СССР, межэтнический брак пересмотрен, браки русских с представителями целого ряда народов рассматриваются как нежелательные³, ряд советских парадигм, относящихся к межэтнической брачности остался в силе. Ведь опыт межэтнических браков в СССР радикально отличался от того, с чем приходилось сталкиваться людям в США и Западной Европе. Так, в советском дискурсе практически отсутствовало понятие расы, особенно в первые десятилетия советской власти. Государство распределяло граждан по «народностям» или «национальностям», а не по расовым признакам. Более того, эти категории воспринимались главным образом в культурно-историческом плане, а не в биологическом или генетическом. Так, башкирский исследователь М. В. Мурзалубатов, желая отойти от сложившееся в советское время традиции, пишет: «Общепринятые в историко-этнографической литературе термины “межнациональные браки (семьи)”, “национально-смешанные браки (семьи)” и т. п., на наш взгляд, нуждаются в некотором уточнении. ... Общеизвестно, что русские относятся к европеоидной расе, а башкиры — типичная метисная популяция с преобладающей долей монголоидного компонента, чрезвычайно сходная с татарами Сибири, хакасами, ногайцами, казахами и другими народами... Следовательно, русско-башкирский брак и межэтнический, и, в какой-то степени, межрасовый. То же самое, видимо, можно сказать и о русско-мордовских, русско-марийских, русско-чуваших и т. д. браках» (Мурзалубатов 1994: 1). Но пересмотр понятий не удался, и само понятие «раса» для жителя России и сегодня несколько академическое. Для него живым и эмоционально окрашенным остается несколько туманное в научно-терминологическом смысле понятие «национальность» и советское понимание термина «нация», которое можно истолковать скорее как организационно оформленный этнос. Эти понятия в советской трактовке были положительно окрашенным, когда они касались советских народов, ведь неслучайно «историки называют советское многонациональное государство «создателем наций» (*maker of nations*), имея

³ По данным ВЦИОМ за 2010 год в наибольшей степени негативно воспринимают россияне браки с чеченцами (65%), арабами (63%), народами Средней Азии — казахами, таджиками, киргизами или узбеками (60%). Неприятие вызывают и союзы с грузинами, армянами и азербайджанцами (54%), а также с евреями (46%) (ВЦИОМ 2010).

в виду проводившуюся государством институционализацию народностей через создание национальных республик, поддержку национальных языков и культур» (Уалиева, Эдриен 2011). В рамках советской парадигмы межэтнические браки, когда они совершались между представителями советских народов и вели к их сближению, рассматривались как явление однозначно желательное, ведь «в отличие от США и Европы, где довольно долго господствовало культурное неприятие смешанных браков, в СССР их поддерживали как в теории, так и на практике, поскольку смешанные браки способствовали окончательному слиянию наций в единый "советский народ". Межэтнические браки рассматривались как инструмент модернизации — особенно в таких "отсталых" регионах, как Средняя Азия. По мнению советских теоретиков, именно смешанные пары скорее отходили от традиционного уклада, принимали современный, типично советский образ жизни, создавая у себя в республиках пример для подражания. Современность часто понималась как "русскость", поскольку в смешанных семьях чаще всего говорили по-русски и вели городскую, "европейскую", жизнь» (Уалиева, Эдриен 2011). Позднее, когда запрет на смешанные браки в США был снят (в ряде штатов США такой запрет существовал до 1967 года), в США и Великобритании делались попытки показать, что изучение людей смешанного расового происхождения основывается на сомнительном с научной точки зрения предположении о реальности существования «расы». Между тем, в советской парадигме изучение межэтнических браков покоилось на убежденности в существовании отдельных чистых «этносов». И именно оно легло позднее в основание деструктивных национальных сценариев 1990-х годов.

Та мировоззренческая парадигма, которая лежит в основе отношений к межэтническим бракам при национальных суверенитетах лежит в русле советского восприятия национальности как однозначной и неизменной, и вытекает из советского общественного интереса к вопросам этногенеза, возникшего в послевоенные годы. «"Этнос", термин, вошедший в советскую этнографию в 1960-е годы, стал все чаще рассматриваться как биологическая и генетическая единица. В каждой национально-территориальной республике местные ученые стали отслеживать корни "титупной нации", устанавливать ее "генотип" и "генофонд". ... Понимание национальности как природно заданной выдает себя в сопротивлении межэтническим бракам среди националистически настроенных групп, основным аргументом которых является необходимость сохранения чистого казахского "генофонда"» (Уалиева, Эдриен 2011).

Общественные дискуссии в России вокруг проблемы межэтнической брачности относятся именно к этому советскому восприятию национальности как чего-то раз данного. Отсюда это откровенное преувеличение цифр, относящихся к межэтническим бракам: исследователи и журналисты хотят привлечь внимание к вопросам, касающимся чистоты генофонда. При этом как бы исчезает культурная составляющая национальности, связанная с самоприписыванием и культурной идентичностью человека. Между тем стоило бы поставить вопрос о том, какую семью вообще следует рассматривать как национально-смешанную. Можно согласиться с тем, что «очевидно, ту, в которой супруги имеют не просто разную национальную принадлежность по документам, а относят себя к разным национальным культурам. Много ли таких семей на самом деле? Подобные браки большей частью заключаются в условиях крупного города, который “подобно котлу” стирает все различия, “переваривает их”, создавая свою среду, формируя свой, городской, образ жизни» (Сизоренко 2007). Как правило, исследователи, изучающие межэтнические браки опираются на официальную статистику, которая, «фиксируя рост межэтнической брачности, ориентировалась до недавнего времени (2002 г.) на национальную принадлежность супругов, указанную в документах. Но совпадает ли она с национальной самоидентификацией личности супругов, с тем, к какой этнической культуре они себя относят? ... В условиях крупного города семейный быт этнически слабо окрашен, то есть фактор национальной специфики теряет свою значимость» (Сизоренко 2007). Это касается детей от смешанных браков. Но вопрос значительно шире. Он касается и тех, кто вписывает себя в культуру народа, в котором не был рожден. Нередко дети от межэтнических браков затрудняются отнести себя к какой-либо национальности или фактически усваивают культуру народа, к которому не принадлежит ни один из родителей. Исследователи межэтнических браков часто отмечают, что «потомки из национально-смешанных семей не отождествляют себя ни с одним из родительских этносов, а идентифицируют с неким третьим (например, доминирующим в среде этнического обитания)» (Галкина 1993: 22). Еще в советское время А. А. Сусоколов писал, что приписывание ребенку от смешанного брака национальности на основе национальности отца или матери опирается на «генетический» подход к этнической принадлежности как к качеству, обязательно передаваемому «по наследству», тогда как национальная принадлежность определяется воспитанием, а не происхождением (Сусоколов, 1987: 130–131).

В советский период с его советскими культурами, имеющими общий знаменатель в секулярном и, часто, прямо атеистическом мировоззрении, подчеркивающим, что содержание у него советское, а национальное — только форма, в которой он проявляется, национальное самоопределение было порой делом формальным, что вело к психологической легкости заключения национально-смешанных браков. В современных условиях на первое место выходит религия, как препятствие для заключения браков с некоторыми из соотечественников или мигрантов. Так, как пишет Г. С. Солодова, проводившая исследование в среде мигрантов в городах России, «опрос показал, что нередко для мигрантов определяющим был не национальный, этнический признак..., а конфессиональный... Вероисповедание в этом случае становится важным фактором» (Солодова 2011: 47). По наблюдениям О. Маховской, у русских девушек, если они, выходя замуж за представителей мусульманских народов, не принимают ислам, «семья не получается» (Маховская 2011). По данным опроса, проведенного Д. О. Ореховой, 80% респондентов отрицательно относятся к идее смены религии при заключении межнационального брака, 10% отнеслись к вопросу смены религии безразлично, еще 10% объявили себя неверующими (Орехова 2012: 75).

Отчасти поэтому ситуация вокруг межэтнических семей в городах коренной России достаточно напряженное. Межэтнические семьи порой существуют в негативном контексте. Н. Л. Крылова говорит о своеобразном проявлении «русского расизма» по отношению к русско-африканским парам, «где превалирует бестактное, прямо-таки варварское любопытство» (Крылова 2006: 240). Можно сказать, что до некоторой, более слабой, конечно, степени такое проявление присутствует и по отношению к любым парам, в которых супруги относятся к разным культурам. Об «излишне повышенном интересе среди окружающих» (Гриценко 1991: 55) к межэтническим семьям, правда, в период обострения межэтнических конфликтов на рубеже 1980-х — 1990-х годов говорит также В. В. Гриценко, именно тогда как раз, когда, видимо, межэтнические семьи и стали восприниматься как явление неординарное, в отличие от советского времени. Л. А. Осьмук также, говоря о внешних факторах, влияющих на прочность межэтнической семьи, указывает на «нездоровый интерес и даже конфликтную напряженность вокруг «странной» для общества семьи» (Осьмук 2014: 121). Такой «нездоровый интерес» вызывает разность культур представителей разных народов, что почти не осознавалось в СССР, где была

единая советская массовая культура. Эта реакция говорит о неполной включенности межэтнической брачности — по крайней мере, между представителями ряда народов — в социокультурный сценарий современного российского общества: свидетельством тому, что такая семья воспринимается как необычная «странной», задерживающей на себе внимание. Межэтнические семьи, в отличие от советского времени, сегодня не отражают ведущего идеологического тренда общества. Будучи вне тренда, они общественным мнением воспринимаются как явление пугающее.

«Страшилка» возникает из общего ощущения психологического дискомфорта, который порождают межэтнические семьи, угрозы культурной самоидентификации. По мнению М. А. Зейтуныя, «данная опасность [потери национальной самобытности в результате межэтнических браков. — С. Л.] преувеличена, поскольку сохранение национальной культуры происходит не на генетическом, а на сознательном уровне» (Зейтуныя 2006). И в целом, как мы видели на материалах опросов, больше половины молодежи не признает опасности межэтнических браков, но и не смотрит на них как на желательное явление, сводя их к факту частной жизни. «Лишенные идеологической поддержки, этнически смешанные семьи все же создаются» (Верещагина 2003).

Конечно, межэтнические браки имеют внутри себя качественные отличия. Так еще А. А. Сусоколов выделял три их типа: 1) семьи с партнерами, близкими по этническим, этнокультурным характеристикам и традициям (одинаковая религия, схожий быт, обычаи, система ценностей); 2) семьи с партнерами, близкими по культурным характеристикам (одинаковая религия, близкая ценностная система), но неблизкие этнически и различающимися по традиционному строю жизни; 3) семьи с партнерами, далекими по этнокультурным характеристикам и национальному менталитету (разные религии, разные культура и система ценностей, разные цивилизационные особенности) (Сусоколов 1989: 98). Браки двух первых типов и в современной в значительной степени этноцентрированной системе мировоззрения могут быть основаны на одинаковой направленности культуры, и для этнической культуры опасности не представляют. Более осторожно следует относиться к межконфессиональным бракам, поскольку они ведут к ассимиляции членов этноса, вступающих в брак в ценностно-чуждой культуре и потере этих людей для собственной, изначально заданной культуры, выходу из нее. При господстве советской идеологии такого

безвозвратного выхода из культурной системы не было — существовала иллюзия единого ценностного основания культур народов СССР, некоей унифицированной советской культурной среды. Сегодня, даже в условиях, когда складывается политическая российская нация, она не является ценностно монолитной, и от этого никуда не уйти. Потому межэтническая брачность — явление, которое так приветствовалось в СССР, в современной России вызывает очевидную растерянность. С одной стороны, невозможность и, что важно, очевидное нежелание его изжить, ибо оно остается в сознании россиян, как наследников советской культуры, безусловно легитимным. С другой стороны, его сложно культурно-ценностно обусловить.

Источники

Асанова Э. С. Межэтническое взаимодействие в условиях национально-смешанных семей республики Адыгея (социологический аспект). Автореферат. Майкоп, 2009. — 23 с.

Бокова Т. Л. Основные тенденции в развитии многонациональной семьи в Российском обществе // Журнал Известия Томского политехнического университета. 2007. Выпуск № 7, том 11. С. 101–114.

Бракина Д. Г. Этнические и этнокультурные процессы в республике Саха (Якутия). 70–90 гг. XX в. Новосибирск: Наука, 2005. — 208 с.

Верецагина А. В. Типологическая характеристика семьи в современном российском обществе. Вестник института ИАЭ. 2012. № 2. Социология. С. 79–91.

Верецагина А. В. Этнически смешанные семьи на Северном Кавказе: образование и межэтническая адаптация. Автореферат. Ростов-на-Дону, 2003. — 26 с.

ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 27. Россияне о межэтнических браках. 2010 [Электронный ресурс.] Дата обращения: 1.09.2018. URL: <http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/discussions/2010/08/d19632/>

Галкина Е. М. Этническая идентичность подростков из национально-смешанных семей (по материалам этносоциологического исследования в г. Москве). Автореферат. М., 1993. — 27 с.

Гриценко В. В. Социально психологический климат вокруг национально смешанных семей. // Этнические факторы в жизни общества. М.: Институт этнологии и антропологии АН СССР, 1991. С. 53–62.

Гриценко В. В. Факторы устойчивости национально-смешанных и однонациональных браков (По материалам этносоциологического исследования в г. Аркале Казахской ССР). Автореферат. М., 1989. — 21 с.

Делова Л. А. Социокультурные факторы межэтнической брачности. Автореферат. Майкоп, 2001. — 27 с.

Динисламова С. Р., Садретдинова Э. В. Межэтнический брак и национально-смешанная семья в Башкортостане: состояние, динамика и факторы развития // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XX междунар. студ. науч.-практ. конф. 2014. № 5(20). С. 62–67.

Дудник Ю. А. Сущность и динамика межэтнических браков и семей (на примере Республики Башкортостан). 2007. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/dudnik_ua.doc.pdf

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: в 14 т. — Т. 4. — М.: Статистика России, 2004. — 574 с.

Зейтунян М. А. Межэтнический брак в системе социально-ценностных взаимодействий студенческой молодежи Республики Адыгеи. Автореферат. Майкоп, 2006. — 23 с.

Количество межэтнических браков бесконтрольно растет. Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 01.09.2018. URL: <http://www.anaga.ru/braki-s-nacmenami.html>

Коптяева Е. А. Молодежь и межэтнические браки: на примере населения городов Омска и Екатеринбурга. // Молодежь в малых городах России. Заметки социального антрополога / Отв. ред. и сост. М. Ю. Мартынова, Н. А. Белова. М.: ИЭА РАН, 2016. — 294 с.

Корнеева С. В. Межэтнические браки с иностранным партнером в современных условиях российского общества: социологический анализ. Автореферат. М., 2006. — 28 с.

Кривоногов В. П. Хакасы в начале XXI века: современные этнические процессы. Хакасское книжное издательство, 2011. — 25 с.

Крылова Н. Л. Афро-россияне: брак, семья, судьба. М.: РОССПЭН, 2006. — 76 с.

Макарова И. А. Межэтнические браки в современных условиях: особенности, факторы, мотивы формирования (на примере Забайкальского края). Диссертация. Улан-Уде: 2013. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://www.dslib.net/soc-struktura/mezhnacionalnye-braki-v-sovremennyh-usloviyah-osobennosti-factory-motivy.html>

Махарова Г. С. Национально-смешанные браки в Республике Бурятия на современном этапе. Автореферат. Улан-Удэ, 2003. — 25 с.

Межэтнические браки вредны и опасны. Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 01.09.2018. URL: <http://maxpark.com/user/2999269470/content/1959578>

Межэтнические браки: исключение или норма? Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 01.09.2018. URL: <http://xn--80 agbqqx.xn--80 asehdb/news/1073>

Межэтнические браки: благо или опасная тенденция. Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 01.09.2018. URL: <http://www.pravda.ru/sport/cupper/09-10-2003/38830-brak-0/>

Меняется картина межэтнического брака в России. Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 01.09.2018. URL: <http://www.gumilev-center.ru/menyaetsya-kartina-mezhehtnicheskogo-braka-v-rossii/>

Минасян А. А. Феномен межкультурного взаимодействия в национально-смешанном браке. 2013. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Istoria/1_139146.doc.htm

Мурзалубатов М. В. Однонациональные и национально-смешанные браки в городах республики Башкортостан. Препринт доклада. Уфа, 1994. — 21 с.

Население России 2003–2004. Одиннадцатый-двенадцатый ежегодный демографический доклад. Ответственный редактор А. Г. Вишневский. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Центр демографии и экологии человека, 2006. — 360 с.

Население СССР по данным всеобщей переписи населения 1989 г. М.: Финансы и статистика, 1990. — 46 с.

Николаева Д. С., Фёдорова Н. А. Психологические проблемы межэтнических браков в представлениях молодёжи // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследования. Тверь: Тверской государственный университет, 2013. С. 211–219.

Орехова Д. О. Отношения к феномену межэтнических браков в современном российском обществе. Сборник конференции НИЦ Социосфера. 2012. Выпуск № 37. С. 73–81.

Особенности межэтнического брака. Б. г. и. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: http://revolution.allbest.ru/sociology/00158596_0.html

Осьмук Л. А. Глобализация как фактор роста конфликтов в межэтнических семьях // Семья в XXI веке. Сборник материалов международного экспертного симпозиума (28 ноября — 2 декабря 2013 г.). Великий Новгород, 2014. С. 120–127.

Семенов В. А. Динамика межэтнических браков на Европейском Северо-Востоке на рубеже XX–XXI вв. (по материалам родословных). В кн: Социально-культурные процессы на территории Коми края: история и современность. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. С. 181–184.

Сизоренко З. Л. Межэтническая семья в крупном городе. Социологические исследования. 2007. № 2. С. 140–142.

Сизоненко З. Л. Социальный потенциал межэтнической семьи. 1999. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/4367834/page:18/>

Смешанная семья как микроуровень культуры межэтнического общества. 2014. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://evrazia.org/article/1362>

Соболевская О. В. Смешанные браки измеряют дистанцию между этносами // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <https://iq.hse.ru/news/177665069.html>

Солодова Г. С. Интеграция мигрантов-мусульман в Российское общество // Социс. № 4. 2011. С. 44–49.

Сороко Е. Л. Этнически смешанные супружеские пары в Российской федерации. // Демографическое обострение. 2014. Том 1, № 1; № 4. С. 96–123.

Состояние в браке и рождаемость в России по данным микропереписи населения 1994 г. 1995. М.: Госкомиздат России. — 243 с.

Столярова Г. Р. Феномен межэтнического взаимодействия (Опыт постсоветского Татарстана). Автореферат. Казань, 2004. — 24 с.

Сусоколов А. А. Межэтнические браки в СССР. М.: Мысль, 1987. — 142 с.

Титова Т. А. Этническое самосознание в национально смешанных семьях. Казань: Форт-Диалог, 1999. — 164 с.

Токарева Е. С. Межэтнический брак в системе ценностных ориентаций студенческой молодежи // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 5. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://human.snauka.ru/2013/05/3173>

Трифоновна А. Т. Современные межэтнические семьи: ценностные ориентации. Улан-Удэ: Бурятский госуниверситет, 2014. — 128 с.

Трифоновна Т. Л. Особенности ценностных ориентаций современных межэтнических семей (на материалах Республики Бурятия). Автореферат. Улан-Уде, 2008. — 26 с.

Уалиева С., Эдриен Э. Межэтнические браки, смешанное происхождение и «дружба народов» в советском и постсоветском Казахстане // Неприкосновенный запас. 2011. № 6. С. 34–45.

Хачатрян Л. А., Чадова А. А. Межэтническая семья в современном российском обществе // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2016. Вып. 1(25). С. 127–135.

Чеснокова Т. Плавильные котлы Москвы и Петербурга. 2012. [Элек-

тронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://www.rosbalt.ru/nation/2012/05/08/977765.html>

Шагян А. А. Этнически-смешанные супружеские пары в современной России: социологический анализ. // Научный интернет-журнал «Семья и демографические исследования». 2015. [Электронный ресурс.] Дата обращения 15.09.2018. URL: <http://riss.ru/demography/demography-science-journal/22268/>

Шахбанова М. М. Отношение к межэтническим бракам в этническом сознании дагестанцев // Социологические исследования. 2008. № 11. С. 72–76.

References

Asanova Eh. S. Mezhehtnicheskoe vzaimodejstvie v usloviyah nacional'no-smeshannyh semej respubliki Adygeya (sociologicheskij aspekt). Avtoreferat. Majkop, 2009. — 23 p.

Bokova T. L. Osnovnye tendencii v razvitii mnogonacional'noj sem'i v Rossijskom obshchestve // ZHurnal Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2007. Vypusk № 7, tom 11. P. 101–114.

Brakina D. G. Ehtnicheskie i ehtnokul'turnye processy v respublike Saha (YAkutiya). 70–90 gg. XX v. Novosibirsk: Nauka, 2005. — 208 p.

Chesnokova T. Plavil'nye kotly Moskvy i Peterburga. 2012. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://www.rosbalt.ru/nation/2012/05/08/977765.html>

Delova L. A. Sociokul'turnye faktory mezhehtnicheskoy brachnosti. Avtoreferat. Majkop, 2001. — 27 p.

Dinislamova S. R., Sadretdinova EH. V. Mezhehtnicheskij brak i nacional'no-smeshannaya sem'ya v Bashkortostane: sostoyanie, dinamika i faktory razvitiya // Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stoletiya. Obshchestvennye nauki: sb. st. po mat. XX mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. 2014. № 5(20). P. 62–67.

Dudnik YU. A. Sushchnost' i dinamika mezhehtnicheskikh brakov i semej (na primere Respubliki Bashkortostan). 2007. Date of access: 15.09.2018. URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/dudnik_ua.doc.pdf

Galkina E. M. EHtnicheskaya identichnost' podrostkov iz nacional'no-smeshannyh semej (po materialam ehtnosociologicheskogo issledovaniya v g. Moskve). Avtoreferat. M., 1993. — 27 p.

Gricenko V. V. Social'no psihologicheskij klimat vokrug nacional'no smeshannyh semej // EHtnicheskie faktory v zhizni obshchestva. M.: Institut ehtnologii i antropologii AN SSSR, 1991. P. 53–62.

Gricenko V. V. Faktory ustojchivosti nacional'no-smeshannyh i odnacional'nyh brakov (Po materialam ehtnosociologicheskogo issledovaniya v g. Arkale Kazahskoj SSR). Avtoreferat. M., 1989. — 21 p.

Hachatryan L. A., CHadova A. A. Mezhehtnicheskaya sem'ya v sovremen-nom rossijskom obshchestve // Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya. 2016. Vyp. 1(25). P. 127–135.

Itogi Vserossijskoj perepisi naseleniya 2002 g.: v 14 t. — V. 4. — M.: Statistika Rossii, 2004. — 574 p.

Kolichestvo mezhehtnicheskikh brakov beskontrol'no rastet. B. g. i.) Date of access: 01.09.2018. URL: <http://www.anaga.ru/braki-s-nacmenami.html>

Koptyaeva E. A. Molodezh' i mezhehtnicheskie braki: na primere naseleniya gorodov Omska i Ekaterinburga. // Molodezh' v malyh gorodah Rossii. Zametki social'nogo antropologa. M.: IEHA RAN, 2016. — 294 p.

Korneeva S. V. Mezhehtnicheskie braki s inostrannym partnerom v sovremennyh usloviyah rossijskogo obshchestva: sociologicheskij analiz. Avtoreferat. M., 2006. — 28 p.

Krivonogov V. P. Hakasy v nachale XXI veka: sovremennye ehtnicheskie processy. Hakasskoe knizhnoe izdatel'stvo, 2011. — 25 p.

Krylova N. L. Afro-rossiyanе: brak, sem'ya, sud'ba. M.: ROSSPEHN, 2006. — 76 p.

Maharova G. S. Nacional'no-smeshannye braki v Respublike Buryatiya na sovremennom ehtape. Avtoreferat. Ulan-Udeh, 2003. — 25 p.

Makarova I. A. Mezhehtnicheskie braki v sovremennyh usloviyah: osobennosti, faktory, motivy formirovaniya (na primere Zabajkal'skogo kraja). Dissertaciya. Ulan-Ude, 2013. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://www.dslib.net/soc-struktura/mezhnacionalnye-braki-v-sovremennyh-usloviyah-osobennosti-faktory-motivy.html>

Menyaetsya kartina mezhehtnicheskogo braka v Rossii. B. g. i. [EHlektronnyj resurs.] Data obrashcheniya 01.09.2018. URL: <http://www.gumilev-center.ru/menyaetsya-kartina-mezhehtnicheskogo-braka-v-rossii/>

Mezhehtnicheskie braki vredny i opasny. B. g. i. Date of access: 01.09.2018. URL: <http://maxpark.com/user/2999269470/content/1959578>

Mezhehtnicheskie braki: isklyuchenie ili norma? B. g. i. Date of access: 01.09.2018. URL: <http://xn--80 agbqq.xn--80 asehdb/news/1073>

Mezhehtnicheskie braki: blago ili opasnaya tendenciya. B. g. i. Date of access: 01.09.2018. URL: <http://www.pravda.ru/sport/cupper/09-10-2003/38830-brak-0/>

Minasyan A. A. Fenomen mezhekul'turnogo vzaimodejstviya v nacional'no-smeshannom brake. 2013. Date of access: 15.09.2018. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Istoria/1_139146.doc.htm

Murzalubatov M. V. Odonacional'nye i nacional'no-smeshannye braki v gorodah respublik Bashkortostan. Preprint doklada. Ufa, 1994. — 21 p.

Naselenie Rossii 2003–2004. Odinnadcatyj-dvenadcatyj ezhegodnyj demograficheskij doklad. Otvetstvennyj redaktor A. G. Vishnevskij. M.: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN. Centr demografii i ehkologii cheloveka, 2006. — 360 p.

Naselenie SSSR po dannym vsesoyuznoj perepisi naseleniya 1989 g. M.: Finansy i statistika, 1990. — 46 p.

Nikolaeva D. S., Fyodorova N. A. Psihologicheskie problemy mezhehtnicheskikh brakov v predstavleniyah *molodyozhi* // Psihologiya, obrazovanie, social'naya rabota: aktual'nye i prioritetye napravleniya issledovaniya. Tver': Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 2013. P. 211–219.

Orekhova D. O. Otnosheniya k fenomenu mezhehtnicheskikh brakov v sovremennom rossijskom obshchestve. Sbornik konferencii NIC Sociosfera. 2012. Vypusk № 37. P. 73–81.

Osobennosti mezhehtnicheskogo braka. B. g. i. Date of access: 15.09.2018. URL: http://revolution.allbest.ru/sociology/00158596_0.html

Os'muk L. A. Globalizaciya kak faktor rosta konfliktov v mezhehtnicheskikh sem'yah // Sem'ya v XIX veke. Sbornik materialov mezhdunarodnogo ehkspertnogo simpoziuma (28 noyabrya — 2 dekabrya 2013 g.). Velikij Novgorod, 2014. P. 120–127.

Semenov V. A. Dinamika mezhehtnicheskikh brakov na Evropejskom Severo-Vostoke na rubezhe XX–XXI vv. (po materialam rodoslovnnyh). V kn: Social'no-kul'turnye processy na territorii Komi kraya: istoriya i sovremenost'. Syktyvkar: GOU VO KRAGSiU, 2014. P. 181–184.

SHagyan A. A. Ehtnicheski-smeshannye supruzheskie pary v sovremennoj Rossii: sociologicheskij analiz. // Nauchnyj internet-zhurnal «Sem'ya i demograficheskie issledovaniya». 2015. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://riss.ru/demography/demography-science-journal/22268/>

SHahbanova M. M. Otnoshenie k mezhehtnicheskim brakam v ehtnicheskom soznanii dagestancev // Sociologicheskie issledovaniya. 2008. № 11. P. 72–76.

Sizorenko Z. L. Mezhehtnicheskaya sem'ya v krupnom gorode. Sociologicheskie issledovaniya. 2007. № 2. P. 140–142.

Sizonenko Z. L. Social'nyj potencial mezhehtnicheskoj sem'i. 1999. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/4367834/page:18/>

Smeshannaya sem'ya kak mikrouroven' kul'tury mezhehtnicheskogo obshcheniya. 2014. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://evrazia.org/article/1362>

Sobolevskaya O. V. Smeshannye braki izmeryayut distanciyu mezhdu ehtnosami // Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya

shkola ehkonomiki». Date of access: 15.09.2018. URL: <https://iq.hse.ru/news/177665069.html>

Solodova G. S. Integraciya migrantov-musul'man v Rossijskoe obshchestvo // Socis. 2011. № 4. P. 44–49.

Soroko E. L. Ehtnicheski smeshannye supruzheskie pary v Rossijskoj federacii // Demograficheskoe obostrenie. 2014. Tom 1, № 1; № 4. P. 96–123.

Sostoyanie v brake i rozhdanost' v Rossii po dannym mikroperepisi nasele-niya 1994 g. 1995. M.: Goskomizdat Rossii. — 243 p.

Stolyarova G. R. Fenomen mezhehtnicheskogo vzaimodejstviya (Opyt postsovetskogo Tatarstana). Avtoreferat. Kazan', 2004. — 24 p.

Susokolov A. A. Mezhehtnicheskie braki v SSSR. M.: Mysl', 1987. — 142 p.

Titova T. A. Ehtnicheskoe samosoznanie v nacional'no smeshannyh sem'yah. Kazan': Fort-Dialog, 1999. — 164 p.

Tokareva E. S. Mezhehtnicheskij brak v sisteme cennostnyh orientacij studencheskoj molodezhi // Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 2013. № 5. Date of access: 15.09.2018. URL: <http://human.snauka.ru/2013/05/3173>

Trifonova A. T. Sovremennye mezhehtnicheskie sem'i: cennostnye orientacii. Ulan-Udeh: Buryatskij gosuniversitet, 2014. — 128 p.

Trifonova T. L. Osobennosti cennostnyh orientacij sovremennyh mezhehtnicheskikh semej (na materialah Respubliki Buryatiya). Avtoreferat. Ulan-Ude, 2008. — 26 p.

Ualieva S., Ehdrien E.H. Mezhehtnicheskie braki, smeshannoe proiskhozhdenie i «druzhba narodov» v sovetskom i postsovetskom Kazahstane // Neprikosnovennyj zapas. 2011. № 6. P. 34–45.

VCIOM. Press-vypusk № 27. Rossiyane o mezhehtnicheskikh brakah. 2010. [EHlektronnyj resurs.] Date of access: 1.09.2018. URL: <http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/discussions/2010/08/d19632/>

Vereshchagina A. V. Tipologicheskaya harakteristika sem'i v sovremen-nom rossijskom obshchestve. Vestnik instituta IAE. 2012. № 2. Sociologiya. P. 79–91.

Vereshchagina A. V. Ehtnicheski smeshannye sem'i na Severnom Kavkaze: obrazovanie i mezhehtnicheskaya adaptaciya. Avtoreferat. Rostov-na-Donu, 2003. — 26 p.

Zeitunyan M. A. Mezhehtnicheskij brak v sisteme social'no-cennostnyh vzaimodejstvij studencheskoj molodezhi Respubliki Adygei. Avtoreferat. Majkop, 2006. — 23 p.

В. В. ГАЛИНДАБАЕВА

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИКИ ОТКРЫТОГО УСЫНОВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ (СЛУЧАЙ ПОСТСОВЕТСКОЙ БУРЯТИИ)

В статье анализируется трансформация практики открытого усыновления в постсоветской Бурятии. Передача ребенка или «обмен» детьми в рамках расширенной семьи автором статьи рассматривается, как еще одна форма заботы, которая позволяет перенести «груз» заботы с одного поколения на другое или перераспределить его между представителями одного поколения. Данный тип межпоколенной заботы редко становится предметом исследования, так как открытое усыновление детей родственников является нормой в ограниченном числе обществ. Исследование проводилось в рамках качественной методологии. Метод лейтмотивного интервью использовался для сбора эмпирического материала (23 интервью), метод тематического кодирования и метод дискурс-анализа использовались для анализа документов. Методика анализа категоризации взаимодействия применялась при анализе транскриптов интервью. Анализ публичного дискурса о традиции открытого усыновления показывает, что данный обычай положительно интерпретируется. Обычай открытого усыновления становится востребованным в качестве легитимного способа нивелировать дефицит заботы в семье сельского мигранта. Если раньше необходимость усыновления легитимировалась шаманской верой в жизнь духов предков на земле, то сегодня буддизм оправдывает родителей, отдающих своих детей, с помощью концепта «буин». Обычай открытого усыновления поощряется на уровне публичного дискурса, но стигматизируется в приватном пространстве. Изменение отношения к этому обычаю в приватной сфере показывает, что расширенное материнство, которое было принято в семьях 19 века и начала 20 века, когда женщины одной большой семьи участвуют в воспитании общих детей, вытесняется идеологией интенсивного материнства.

Ключевые слова: открытое усыновление, межпоколенные отношения, дефицит заботы, село-городская миграция, отношения родства, постсоветская Бурятия.

Исследования трудовой транснациональной миграции показывают, как поддерживаются и изменяются межпоколенческие отношения на расстоянии. Проблема заботы о детях сопутствует именно женской миграции. Доминирующая идеология предписывает ежедневное участие матери в жизни своего ребенка. В отличие от отца, который

исполняет инструментальную роль, мать должна постоянно находиться в эмоциональном обмене с ребенком и таким образом создавать все необходимые условия для его успешного взросления.

Женская миграция транснациональная и сельско-городская влечет за собой значительные изменения практик материнства, а, следовательно, и всей конфигурации межпоколенческих отношений (Hondagneu-Sotelo 1997). Изменение межпоколенческих отношений в сельской семье мигранта проявляются в перераспределении обязанностей между поколениями, «растягивании» семейных сетей из села в город, из одного государства в другое и интенсивном обмене материальными ресурсами в этих сетях.

Практику открытого усыновления/удочерения детей из семей родственников наряду с передачей ребенка на воспитание бабушке можно назвать еще одним решением дефицита заботы в рамках расширенного родства. Одиноким молодые матери, которые переезжают в город в поисках работы, могут отдать детей по личной договоренности другой семье, и даже отказаться от ребенка в пользу своих родителей. Обычно договоренность достигается в рамках большого рода. Бывают случаи, когда ребенка отдают не в родственную семью, а, например, семью односельчан. Ребенок узнает со временем, кто его биологические родители и встречается с ними на таких важных для поддержания бурятского рода событиях — как юбилеи, свадьбы, похороны.

Открытое усыновление часто противопоставляется «настоящей» семейной заботе. С одной стороны, данная тема не относится к внутрисемейной заботе, так как с передачей детей в другую семью, мать лишается прав на них. С другой стороны, ввиду того, что усыновляют родственники и усыновление является открытым, биологические родители (обычно только матери) поддерживают отношения со своими детьми.

Данная тема достаточно трудна для исследования, так как открытое усыновление стигматизируется доминирующей в обществе идеологией материнства. Однако данный обычай достаточно устойчив во времени и воспроизводится, несмотря на изменившееся отношение к нему общества. По данным антропологов подобные традиции существуют у разных народов Азии, Африки и Латинской Америки (Verhoef 2005). В антропологии усыновление рассматривают в основном как часть родовой системы, как форму социальной солидарности или как ответ на изменение демографических условий (Terrell 1994). Открытое усыновление в Бурятии сегодня можно назвать особым типом межпоколенче-

ской заботы, которая осуществляется в более широком контексте рода, а не расширенной семьи. Данный тип заботы противоречит основным положениям доминирующей идеологии материнства. Идеология интенсивного материнства поддерживает представления о том, что мать должна единолично заботиться о своем ребенке. Несмотря на стигматизацию, данная практика продолжает существовать и адаптироваться к новым условиям.

В статье мы рассмотрим обычай открытого усыновления среди бурятских семей в перспективе межпоколенных отношений заботы. Мы рассматриваем этот «обмен» детьми в рамках расширенной семьи, как еще одну форму заботы, которая позволяет перенести «груз» заботы с одного поколения на другое или перераспределить его между представителями одного поколения.

Теоретическая рамка исследования

Исследователи предлагают рассматривать семейную заботу, как «взаимную эмоциональную зависимость (связь) между заботящимся и получающим заботу. Осуществляющий заботу чувствует ответственность за благополучие включенных в круг близких, и выполняет интеллектуальную, психическую и физическую работу, которая чаще всего считается не работой, проявлением особого персонализированного отношения» (Новый... 2009).

Забота представляет собой гендерно маркированный труд, так как ассоциируется в первую очередь с материнством. Нэнси Ходоров впервые отметила, что «материнская забота воспроизводится благодаря дифференциации опыта и психологических последствий объектных отношений у женщин и мужчин. Поскольку основную родительскую функцию по отношению к женщинам выполняют женщины, то у них с большей вероятностью формируется желание стать матерью... Материнская забота, осуществляемая женщиной, формирует адекватные материнству способности и психологическое самоопределение женщин, и в то же время купирует эти способности и соответствующую самоидентификацию у мужчин. В результате у мужчин и женщин формируется фундаментальная структура ожиданий, согласно которой общая забота о благополучии ребенка лежит на матери» (Ходоров 2000).

В 1980-х гг. феминистские исследователи стали впервые рассматривать домашний труд и заботу о ребенке как механизм социального

воспроизводства, формирования и поддержания рабочей силы, обеспечения социальной инфраструктуры экономических и социальных институтов. Причиной «невидимости» производительной ценности домашнего труда авторы считали капиталистические и патриархатные механизмы. Эти механизмы поддерживают воспроизводство гендерных стереотипов, разделение труда в соответствии с ними и неравенство женщин и мужчин на рынке труда. Господствующий гендерный стереотип о том, что стремление заботиться о детях — это естественное качество женщин, материнский инстинкт, делает труд женщин невидимым. В соответствии с этим убеждением домашний труд представлялся в обществе, как неквалифицированный и непроизводительный (Oakley 1974; Rubin 1975; Hartmann 1981). Гэри Беккер, наоборот, считал разделение труда между женщиной и мужчиной результатом рационального выбора, который, конечно, подкреплен и биологической предрасположенностью мужчин и женщин. Забота о детях рассматривается автором как эффективная инвестиция со стороны женщины в развитие человеческого капитала семьи. Мужчина в свою очередь постоянно увеличивает экономический капитал семьи.

Уже в конце 20 века забота становится насущной проблемой социальной политики в индустриально развитых странах в результате экономических и демографических изменений. К этому моменту размер семьи значительно уменьшается и нуклеарный тип становится доминирующим в обществе. Семья становится единицей потребления, а не производства. Толкотт Парсонс считал, что в семье останется после таких трансформаций всего две функции — социализация детей и стабилизация взрослых. Однако массовый выход женщин на рынок труда, формирование двухкарьерных семей, а также увеличение количества разводов и появление семей с одним родителем привело к тому, что женщина, которая несла основную ответственность за воспитание детей, не имеет больше времени выполнять эти обязанности. Истощение частного источника заботы требует либо появления институциональных источников заботы, таких как детские сады и ясли, либо рыночных источников в виде оплачиваемых услуг няни, либо изменение гендерной идеологии в направлении эгалитаризма (Hochschild 2004). Таким образом, дефицит заботы в частной сфере является следствием изменений в структуре семьи и работы в (пост) индустриальном обществе.

За последние тридцать лет усилиями феминистских исследователь и исследователей социальной политики и миграции был создан

целый пласт работ, посвященный проблеме заботы в разных странах мира. Паула Инглэнд выделяют пять главных концептуальных рамок, которые используются в анализе заботы. Первую такую рамку она называет концепцией «обесценивания», в рамках которой культурные стереотипы о гендерном разделении труда представляются главной причиной низкой заработной платы профессий, связанных с заботой, и государственной поддержки семей с детьми. Работы, написанные в рамках концепции «общественного блага» говорит о том, что результатами внутрисемейной заботы в итоге пользуется все общество, а не только отдельно взятая семья, но забота все равно низко ценится. Существует ряд работ, которые пишут об «узниках любви», о том, что альтруистическая мотивация и особая ценность этого труда для заботящегося может приводить к тому, что работники соглашаются на низкую оплату. «Коммодификация эмоций», четвертая концептуальная рамка предполагает, что работа в сфере обслуживания ведет к тому, что работники отчуждаются от своих эмоций, которые глобальный капитализм превращает в товар. «Любовь и деньги»: данные работы подвергают сомнению дуализм рынка и семьи (England 2005).

Таким образом, социологические исследования рассматривают внутрисемейную заботу о детях как труд, который требует особых навыков, эмоциональной и физической работы, и связан с современной идеологией материнства, навязывающей женщине представления о единоличной и интенсивной заботе о ребенке. Забота в современном обществе становится дефицитом, который особенно усугубляется, если ни рынок, ни государство не предоставляют семье альтернативных решений.

Тезис Сандры Хейс о том, что интенсивное материнство становится в современном обществе культурным механизмом, который защищает солидарность семьи, как малой группы, и солидарность сообщества в целом. Данный тезис перекликается с работами антропологов, которые пишут о системах родства и их изменениях в современном обществе. В данном случае уместно рассмотреть работы Джанет Карстон, которая показывает, что семейная забота выступает основой формирования эмоциональных отношений в семье и в расширенной родственной группе. Автор показывает, что там, где легко найти биологическую связь, достаточно трудно установить связь эмоциональную, на формирование которой необходимо время и определенного вида физический и эмоциональный труд. Метафора рода, по словам автора, настолько эмоционально нагружена, что используется в риторике национализма (Hochschild 1995).

Открытое усыновление стигматизируется доминирующей в обществе идеологией материнства. Подобные традиции существуют у разных народов Азии, Африки и Латинской Америки. В последние годы роль расширенной семьи и, в частности, этого института повысилась на фоне неблагоприятных экономических, экологических и социальных условий. Особенно ярко действие данного института проявляется в ситуации, когда дети все чаще лишаются своих биологических родителей в результате распространения эпидемии ВИЧ в африканских странах (Verhoef 2005). Открытое усыновление хотя и является легитимным способом в бурятском обществе решить проблему дефицита заботы, но стигматизируется. Отношения эти часто отражают противоречия современной идеологии материнства и расширенного материнства, которое было культурно принятым в бурятских семьях в 19-начале 20 веков.

Методы исследования и эмпирическая база

Исследование проводилось в рамках качественной методологии. Метод лейтмотивного интервью использовался для сбора эмпирического материала, метод тематического кодирования и метод дискурс-анализа использовались для анализа документов. По теме открытого усыновления было проведено 23 лейтмотивных интервью в период 2010–2014 гг. в пяти сельских поселениях Республики Бурятия (Хилгана, Удинск, Улюнхан, Иволга, Ичетуй). Формирование выборки в данном исследовании происходило в соответствии с несколькими критериями. Первый критерий — место проживания: семьи проживают в сельской местности. Вторым критерием выборки стала этническая принадлежность членов семей. Все члены семьи должны были относить себя к бурятскому этносу. В соответствии с этим критерием интервью проводились в селах, в которых буряты составляют либо половину, либо более половины населения. Третий критерий — усыновления в семьях происходили до 2011 года, когда было введено единовременное пособие для усыновителей.

Анализ транскриптов интервью проводился с привлечением методики «анализа категоризации взаимодействия», которую разработал Х. Сакс и Д. Силверман. Данная методика позволяет понять, как производится описание социальной реальности, какие категории используют индивиды для описания и осмысления повседневной жизни. В нашем исследовании мы обращаемся к адаптированному варианту данной

методики, который предлагают Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина (Здравомыслова 2007).

Анализ интервью проводился в следующей последовательности. Сначала в тексте выделялись смысловые секвенции или содержательно законченные эпизоды, повествующие об опыте выстраивания отношений заботы и об опыте участия в открытом усыновлении. Далее мы выделяли в каждой секвенции категориальный ряд, который использовался информантами для описания себя, родителей и других родственников, участвующих в воспитании детей в данной семье. Рассматриваем действия и отношения, которые информанты связывают с выделенными категориями, а также выделяем моральные оценки, которые информанты приписывают данным категориям.

Выделена секвенция по теме открытое усыновление — когда традиция не работает. В данном интервью информантка объясняет, почему её муж почти не участвовал в воспитании их совместных детей.

«В.: У него вообще не было привычки помогать, за детьми смотреть?

О.: *Вообще, не было. ... Вот, это вот, я все обращала внимание и то, никому не рассказывала, как это. Но я сразу понимала, что он — приемный, что он ...э истинной материнской любви нет, так, даже маме не жаловалась. Никогда ничего не говорила. (...) вот, это приемный же был. Вот, еще у его родственников еще один приемный был, там, в Барунхасурте. Я еще возмущалась: что такое, у вас все приемные какие-то?!»*

Информантка определяет своего мужа с помощью лексемы “приемный”. Категория “приемный” в данном фрагменте определяет человека, который был лишен настоящей эмоциональной привязанности со своей биологической матерью или “истинной материнской любви”. Только биологическая мать может создать для ребенка благоприятный эмоциональный климат, необходимый для нормального взросления ребенка. Вследствие отсутствия эмоциональных отношений с родной матерью «приемный» не мог во взрослой жизни сформировать тесные эмоциональные отношения уже со своими детьми. Рассмотрим действия, которые совершает информантка: она «обращает внимание», «понимает», «даже маме не жалуется», то есть вообще никому об этом не говорит. Однако она «возмущается», то есть испытывает достаточно высокую степень недовольства тем фактом, что в селе, откуда муж родом, практика открытого усыновления достаточно широко распространена.

Таким образом, на основе анализа данного фрагмента интервью мы можем сделать вывод, что информантка в своих рассуждениях следует уже современной концепции материнства: материнство рассматривается, как особые персонализированные отношения между ребенком и матерью, которые проявляются в индивидуализированной заботе о ребенке. Отданные дети, по ее мнению, отлученные от биологических — «настоящих» — матерей, не знают, как выстраивать отношения заботы уже со своими детьми.

В эмпирическую базу исследования также вошли 93 статьи локальной прессы (газет и журналов) по теме обычая открытого усыновления в таких изданиях, как «Информ-Полис», «Женский взгляд», «Аргументы и факты в Бурятии», «Бурятия», «Номер один», «Традиция». Данные статьи мы анализируем, чтобы выяснить, как оценивается традиция усыновления в публичном дискурсе, насколько публичный дискурс совпадает с дискурсом частным.

Анализ собранных данных проводился в рамках дискурс-анализа. Для анализа дискурсов мы используем методологию критического дискурс анализа Нормана Фэркло. Данная методология делит социальные практики на дискурсивные и недискурсивные. Дискурс рассматривается как форма социальной практики, которая конструирует социальный мир, и одновременно формируется в контексте других социальных практик. Дискурс воспроизводит и изменяет значения, идентичности и социальные взаимоотношения. Однако автор признает, что существует дискурсивная и недискурсивная практики, комплексный анализ которых позволяет раскрыть социальные механизмы поддержания социального порядка (Филиппс 2008). Фрагмент из статьи «Тепло и ласку — не по расписанию».

«Бурятских Гаврошей пристраивают в семьи. Остаться сиротой при живых родителях для маленького человечка большая обида. Увы, нынче такое случается нередко, когда родители без сожаления оставляют своих чад. Их забирают к себе те, кто по той или иной причине не имеет своих. Такие семьи называют замещающими. Исстари жители Азии очень ответственно относятся к продолжению своего рода. Так, буряты, не имея благоприятных условий для рождения и сохранения детей, усыновляли их. И в настоящее время замечательную бурятскую традицию удачно применили для решения социальной проблемы — усыновления сирот. Президент Бурятии Вячеслав Наговицын на одном из заседаний в Правительстве как-то сказал о том, что детей-сирот в республике не должно быть, их надо

пристроить в семьи. Он особо подчеркнул, что именно в семье такой ребёнок приобретает жизненный опыт» (Жапова 2011).

Узловые точки, вокруг которых происходит формирование дискурса, следующие: сирота, замещающие семьи, буряты, традиция. Данные знаки имеют привилегированное положение в данном дискурсе, так как определяются с помощью других элементов. Например, узловой знак «сирота» определяется через такие значения, как дети, которых оставляют родители, дети, которые остались без опеки при живых родителях, дети, оставшиеся без семьи при живых биологических родителях. В официальном дискурсе принято называть таких сирот социальными, то есть оставшимися без попечения родителей по социально-экономическим причинам, и отделять их от сирот, которые остались без семьи по причине смерти родителей. В данной статье сиротами называют только тех, кто остался без попечения при живых родителях, то есть данный дискурс отрицает другое значение знака «сирота». «Замещающая семья» — семья, у которой нет своих биологических детей. Такая семья может поделиться с сиротой необходимым для него жизненным опытом. «Буряты» определяются как один из народов Азии, который в отличие от народов, проживающих в других частях света, относится к продолжению своей семьи и рода «ответственно». Не имея своего биологического ребенка, бурятская семья принимала ребенка из другой бурятской семьи на воспитание и, таким образом, продолжала свою генеалогическую линию. Вследствие укоренившегося во времени паттерна поведения или «традиции», у бурят не было социально проблемы сиротства или детей, оставшихся без опеки семьи при живых родителях. Сегодня именно применение данной традиции, по словам автора, позволит решить проблему социального сиротства.

Традиция открытого усыновления рассматривается с точки зрения решения социальных проблем современной Бурятии. В данном дискурсе традиция рассматривается как инструмент, применение которого оправдано с точки зрения государства. Интересно и то, что замещающая семья в данном дискурсе не имеет своих биологических детей, хотя источники по этнографии бурят показывают, что и семьи со своими биологическими детьми охотно усыновляли детей родственников по мужской линии. Данный дискурс переопределяет традицию усыновления, приписывая ей новые значения.

Таким образом, дискурс — это совокупность фиксированных значений, которая исключает другие возможные способы соединения значений. Так, например, усыновление, с одной стороны может

рассматриваться в дискурсе социальной политики как эффективный метод социализации детей, оставшихся без попечения родителей. С другой стороны, усыновление детей с точки зрения последователей медицинского дискурса может оцениваться негативно, так как усыновление в данном дискурсе связано с наследственностью детей, от которых отказались родители.

Результаты исследования

В Бурятии открытое усыновление стало важной частью родовых отношений еще в 19 веке, которое в советское время, несмотря на процессы нуклеаризации, воспроизводилось. Низкой фертильностью антрополог Каролайн Хамфри объясняет появление практики открытого усыновления/удочерения у бурят именно в 19 веке, которая была низкой вследствие распространения венерических заболеваний (Humphrey 1998). Вследствие низкой фертильности и высокой детской смертности у бурят появился такой обычай, как передача на воспитание, фактическое усыновление или удочерение самого старшего или самого младшего ребенка, родственным бездетным семьям. Если в расширенной семье этого сделать не удавалось, то супруги уже обращались к дальним родственникам или не родственникам. Последними по предпочтительности уже были русские дети, которых нередко буряты фактически «покупали». В обмен за русского ребенка буряты давали лошадь, корову и зимнюю одежду. Было распространено мнение, что русские дети более здоровые и жизнеспособные, чем бурятские (Лебедева 1975).

Ребенок являлся собственностью рода, и поэтому усыновлять могли только родственники по отцовской линии. Приемные дети обладали такими же правами, что и родные дети: они наследовали все имущество приемного родителя. Так, одна наша информантка рассказывала о своей бабушке, чье детство пришлось на период 20–30-е гг.: *«Были дальние родственники бездетные. И был родственник лама. Он её (бабушку — прим. авт.) им, приемным родителям отдал. Сказал им, что у них детей не будет, чтобы они её забирали... Маленькая была, знала, что братья и сестра есть. Отчим повез знакомиться с родными только, когда она в школу пошла»* (жен. 36 лет). Таким образом, уход за ребенком обеспечивался большой патрилинейной семьей, принадлежность к которой была ключевой социальной идентичностью члена бурятского общества.

Кэролайн Хамфри также уделяет внимание вопросу адаптации открытого усыновления к условиям советской модернизации. Она описывает семью председателя колхоза, у которого четверо детей были родными, а трое усыновленными. Исследователь считает, что таким способом председатель правления увеличивает круг людей, на которых он может положиться в трудной ситуации, то есть председатель сознательно увеличивает и упрочивает свои ближайшие родственные связи, чтобы поддержать свою власть в данном колхозе и получать доступ к государственным ресурсам (Humphrey 1998). Система расширенного родства и усыновления в исследовании британского антрополога рассматривается в инструментальном значении, как практика расширения и укрепления власти.

В тоже время необходимо отметить, что буряты перестали усыновлять детей из русских семей, но стали отдавать детей в бурятские неродственные семьи. В советский период формируется бурятская социалистическая нация, атрибутом которой наравне с языком и религией стали и расовые признаки (Слезкин 2008). Вместе с родо-племенной принадлежностью важной стала и принадлежность к этнической группе. Родители стараются теперь усыновить детей, которые схожи с ними по расовым/этническим признакам. В таких ситуациях можно говорить о размывании границ между семьей, родом и нацией, о чем мы упоминали выше в связи с работой Карстен. С одной стороны, индустриализация аграрного производства и сельско-городская миграция должны были привести к доминированию идеологии интенсивного материнства, которая стигматизирует отказ от детей в пользу других людей. С другой стороны, конструирование бурятской этнической группы закрепило существование практики обмена детьми. Аппелируя к обычаю открытого усыновления у бурят, бездетные бурятские семьи обращаются к многодетным родителям или одиноким молодым матерям, с которыми они не связаны родством, с просьбой отдать им ребенка.

Рассмотрим далее современное состояние этой традиции в контексте сельско-городской миграции. Здесь необходимо отметить, что мы рассматриваем случаи усыновления, а не опекуинства, в которых приемные родители, например, не получали никакой материальной выгоды в виде льгот и выплат от государства. Главное приобретение такой семьи — это ребенок, который получает фамилию и наследует в будущем имущество семьи. Основная «выгода» матери или семьи, отдающей ребенка, состоит в снижении материальной нагрузки

и возможности избежать таких общественно порицаемых действий как аборт или отказ от ребенка в пользу государства. В нашем эмпирическом материале мы встречаем и полные семьи, и одиноких матерей, которые усыновили или отдали на усыновление детей.

Истории открытого усыновления в прессе можно встретить в связи с описанием жизни выдающихся бурятских деятелей, а также в краудфандинговых компаниях. Так народный поэт Дамба Жалсараев, автор гимна Республики Бурятия, в детстве был усыновлен старшей сестрой своего отца (Народный... 2009). Один из самых известных бурятский художников Цыренжап Сампилов, родившийся в 1893 году в бедной многодетной семье, также был усыновлен родственной бездетной семьей (Художник 2008). Описывая биографии знаменитых бурятских деятелей, авторы положительно оценивают момент усыновления.

В краудфандинговых компаниях также мы можем встретить упоминания об этой традиции. В данном случае чаще всего рассказывается об усыновителях: *«Однажды Энгельсина узнала, что забеременела родственница мужа. Молодая девушка, еще не вставшая толком на ноги, твердо решила делать аборт. Посоветавшись, Энгельсина с мужем пришли к девушке с просьбой сохранить ребенка. — Не бери грех на душу, не убивай ребенка. Не хочешь сама воспитывать, отдай нам, мы его на ноги поставим, — взмолилась Энгельсина... Сыночка Золто Энгельсина с мужем забрали прямо из роддома. Ему было меньше недели»* (Габышева 2011). Далее в статье рассказывается, как Энгельсина усыновила еще двух детей родственников.

С 2010 года в прессе стали появляться статьи, которые описывают, как сегодня используют бурятскую традицию для решения социальной проблемы сиротства. Дело в том, что жители ряда бурятских сел взяли на попечение детей из ближайших детских домов. Забирают как бездетные семьи, так и семьи, чьи дети уже выросли и уехали из родительской семьи: *«Истари жители Азии очень ответственно относятся к продолжению своего рода. Так, буряты, не имея благоприятных условий для рождения и сохранения детей, усыновляли их. И в настоящее время замечательную бурятскую традицию удачно применили для решения социальной проблемы — усыновления сирот»* (Жапова 2011). Необходимо отметить, что сирот по бурятской традиции усыновляли в редких случаях, так как дети должны были наследовать имущество отца и стать продолжателями его линии рода.

Мы рассмотрим несколько историй о практике открытого усыновления в условиях сельско-городской миграции. Первый случай

произошел семь лет назад в семье, которая переехала из села в город Улан-Удэ. Семья остановилась жить у двоюродной одинокой бабушки. Муж устроился на работу охранником в магазине, а жена — поваром. Общий бюджет супругов составляет 18 тысяч рублей в месяц. Сначала у них родилась дочь, которую до 7 лет воспитывала бабушка в селе, и они решили родить второго ребенка — мальчика, но родилась девочка. Родители решили, что им необходим мальчик, но экономически они не смогут воспитывать больше двух детей, и отдали вторую девочку, когда ей еще не было и года, своим дальним городским родственникам.

Похожая ситуация произошла с женщиной, которая переехала в город в поисках работы, чтобы материально обеспечивать своих двух детей, рожденных вне брака. В городе она забеременела третий раз. Вернувшись в село, она родила ребенка и отдала его бездетной семье односельчан, в которой не было детей уже 10 лет. И главной причиной стало не столько возможность стигматизирования внебрачного материнства, сколько отсутствие экономических ресурсов для воспитания троих детей.

Другую историю передачи ребенка родственникам нам рассказали родители, которые отдали своего последнего седьмого ребенка племяннику со стороны мужа. В настоящее время супруги проживают в поселении Удинское вдвоем в отдельном доме, в соседней от них ограде проживает их старший сын с внуками. Остальные дети и внуки приезжают к ним на каникулы и во время отпусков. Интервью проводилось с бабушкой и дедушкой вместе. Когда я спросила, как они относятся к традиции отданных детей, бабушка ответила, что положительно, а дедушка прямо сказал, что они и сами имеют такой опыт:

В.: В каких случаях детей отдают?

Б.: Ну, а раз детей нет, пускай и у них дети будут.

В.: Ну, не осуждаете?

Б.: Не-а.

В.: А если бы вас попросили бы, отдали бы?

Б.: Отдали бы.

Д.: Мы так отдали.(...)

В.: А кому отдали?

Б.: Племяннику.

Д.: (Племянник с женой) несколько лет жили, а никого и не было, поэтому ...э у меня еще здоровье тогда расшаталось. Что со мной случится, с кем он останется? Я вот в 14 лет без отца и матери остался, сирота. Вот, чтобы такого не было, вот считаю, что правильно.

В.: Ну, интересно, что вы только первые здесь кого я встречаю...э

Д.: что друг другу так помогаем?

В.: Да, что друг другу так помогает» (Семья Бардымовых, 7 детей, 13 внуков).

Племянник сам попросил своего дядю отдать ему последнего сына. Бездетная пара, которой отдали младшего сына, проживает в городе. По словам информантов, иногда сын вместе с племянником приезжает к ним в гости, т. е. они поддерживают отношения в рамках расширенной группы родства. Супруги также добавили, что отдать ребенка бездетной паре считается благим делом у бурят.

В другой семье отец по просьбе двух своих старших сестер, у которых не было детей, отдал им двух своих дочерей, оставив себе только старшего сына. Эта история произошла еще в советский период и стала известна со слов внучки этого человека. Его дочери росли в семьях его сестер. Однако они всегда упрекали своего отца и свою мать за то, что они отдали их. Как мне объяснила внучка, её бабушка всегда объяснял свой поступок следующим образом. Во-первых, он говорил, что не мог отказать просьбам своих родных сестер. Во-вторых, у бурят есть понятие благого поступка или «буин/буян».

Буин означает буддистскую концепцию духовной добродетели или хорошей кармы, которую необходимо увеличивать, чтобы получить *«шанс в одной из будущих жизней родиться непременно в Шамбале — Чистой Земле, где не надо заботиться о хлебе насущном и все время можно посвятить практике Учения во благо всех живых существ»* (Зурхай... 2014). Буин необходимо накапливать через совершение благих дел и поступков. С точки зрения буддистской концепции отказ от ребенка в пользу бездетных родителей является большим благим деянием.

Информанты, которые проживают на юге республике, чаще всего легитимируют традицию открытого усыновления с помощью буддийского концепта. Дело в том, что традиционно в южных районах больше распространен буддизм, в то время как в северных районах развито двоеверие (буддизм и шаманизм) или только шаманизм.

Далее рассмотрим случаи, когда ни родственные обязательства, ни обещание хорошей кармы не смогли убедить молодых матерей отказаться от своих детей и нарушить обычай.

Информантка родила своего первого ребенка без оформления брака сразу после окончания сельскохозяйственной академии, и вернулась в отцовскую семью. Мама информантки сразу начала уговаривать её отдать дочку старшей сестре матери, у которой к тому времени

погиб единственный сын. Сама она так рассказывает о том, как семья принимала решение: *«Но мама старой закалки, чтобы без мужа, конечно, она меня это, всяко говорила, конечно. Очень даже, до глубины сердца она мне так говорила. Мне как-то не по себе было как-то. А я думаю: нет уж, я никогда никому не отдам. А потом сказала: вот папа придет, как папа скажет, так и будет — говорю. А она тоже ..э вот меня удивила же мама! Прямо с готовностью была отдать её. Я, вот, меня, вот, это вот, меня поразило. Потом маме... потом рассказывала, как ...э потом папа приехал, и я говорю: как это? (Я-то не говорю, что не хочу, а у меня сердце-то — ничего никому не отдам) А папа-то: нет, конечно, ха-ха-ха. Ой, у меня на сердце так хорошо стало, отлегло. Вот поэтому я и благодарна. Вот, папа молодец — говорю. ... Ну, мама меня родная удивила тогда. Как с готовностью можно родного ребенка отдать?!»* (Женщина, 58 лет, вдова, 3 детей). Информантка указывает в первую очередь на эмоциональные переживания по поводу возможного расставания со своим родным ребенком. Мать, старшая женщина в семье, выступила с инициативой отдать ребенка бездетным родственникам, обосновывая такое решение бурятскими традициями, а также возможной стигматизацией дочери и её ребенка. Однако, несмотря на давление со стороны матери, она не соглашается отдать ребенка и заручается поддержкой отца.

Возникновение конфликта по поводу родительства между матерью и дочерью свидетельствует, во-первых, о том, что норма расширенного материнства перестает быть общепринятой, легитимной, во-вторых, конфликт между поколениями также свидетельствует о значительных изменениях семейных моделей среди бурят среднего поколения. Расширенное материнство, которое было принято в семьях XIX века и начала XX века, когда женщины одной большой семьи участвуют в воспитании общих детей, а дети обращались к женщинам среднего поколения — мама, заменяется новым материнством — индивидуальным и персонализированным уходом за детьми, характерным для индустриальных обществ.

Если раньше к практике передачи детей обращались, чтобы перераспределить детей между многодетными парами и бездетными внутри рода, то теперь обращаются, чтобы скрыть факт рождения ребенка вне брака и статус матери-одиночки и обеспечить «полноценное», по ее мнению, воспитание ребенка в полной семье.

Интервью это также показывает, насколько изменились нормативные ожидания в отношении материнства в бурятских семьях.

Рассказывая о своей жизни после замужества, информантка еще несколько раз обращалась к данной теме. Когда я спросила её, помогал ли муж ей ухаживать за маленькими детьми, она ответила, что он совсем не помогал. Отсутствие стремления заботиться о своих маленьких детях у мужа она объяснила так:

«В.: У него вообще не было привычки помогать, за детьми смотреть?»

О.: Вообще, не было. ... Вот, это вот, я все обращала внимание и то, никому не рассказывала, как это. Но я сразу понимала, что он — приемный, что он ..э истинной материнской любви нет, так, даже маме не жаловалась. Никогда ничего не говорила. (...) вот, это приемный же был. Вот, еще у его родственников еще один приемный был, там, в Барунхасурте. Я еще возмущалась: что такое, у вас все приемные какие-то?!» (Женщина, 58 лет, вдова, 3 детей).

Информантка в своих рассуждениях следует уже современной концепции материнства: материнство рассматривается, как особые персонализированные отношения между ребенком и матерью, которые проявляются в индивидуализированной заботе о ребенке. Отданные дети, по ее мнению, отлученные от биологических — «настоящих» — матерей, не знают, как выстраивать отношения заботы уже со своими детьми.

Информантка в одном из сел оказалась в сходной ситуации: она узнала о незапланированной беременности на третьем курсе и решила родить ребенка без мужа. Самые близкие отношения в семье у неё сложились с двоюродным дедом и его двумя незамужними и бездетными дочерьми, а не с родными родителями. Одна её тетя живет в городе, а другая вместе с дедом в деревне. Решение молодой незамужней женщины родить ребенка поддержали обе тети, а потом и бабушка. Ребенка она родила в городе, и первые три месяца после рождения сына с ней жила и помогала заботиться о ребенке другая её тетя. Именно эта родственница предложила ей отписать сына в пользу бездетной родственницы, которая живет в городе. Она отказалась, сказав: «*это ж моё, родное. Как я могу отказаться?!*» По её рассказам, эта тетя продолжает подыскивать своей бездетной двоюродной сестре ребенка, но сама тетя в свое время также отказалась отдать свою вторую дочь своей сестре.

Информантка рассказала следующее: «*А вот еще, как рассказывали, бабка вот она хотела вот Светку, её вторую дочку, взять. Ну, вообще, отнять от неё, ну, вот это чтобы тете Тане вот ну как на воспита-*

ние. Все равно же, что она там одна. Она же не захотела вот» (Женщина, 29 лет, сын 7 лет). Также тетя рассказала нашей информантке, чтобы легитимировать свое предложение, что мать информантки также родила первого своего ребенка вне брака в 18-ть лет, но он был отдан не родственникам, поэтому семья не разглашала этой тайны.

Таким образом, в интервью информанты указали три основных мотива передачи детей на воспитание в другие семьи. Первый — помощь бездетным родственникам обрести своего ребенка. Второй — неуверенность биологических родителей в том, что они смогут обеспечить всем необходимым взросление ребенка. Третий — религиозный мотив — необходимость совершать благие дела, накапливать буин.

Заключение

Практика открытого усыновления остается действующей формой организации заботы о детях в рамках расширенной семьи. Данный обычай может существовать только в рамках тесных родственных отношений внутри большой группы. В досоветский и раннесоветский период дети в бурятских семьях рассматриваются как общие. Однако нуклеаризация и переход к идеологии интенсивного материнства ставят под вопрос дальнейшее существование данной практики. Если в публичной сфере данная традиция нормализуется через социальный дискурс о сиротах, то в приватной сфере данная традиция стигматизируется.

Усыновление мы рассматриваем, как способ решить дефицит заботы с помощью перераспределения «груза» заботы в рамках группы родственников. Анализ публичного дискурса о традиции открытого усыновления показывает, что данный обычай положительно интерпретируется при описании биографий значимых бурятских культурных деятелей. Также бурятскую традицию часто обсуждают, как возможный путь решения социальной проблемы сиротства, хотя сирот чаще всего в бурятских семьях не усыновляли, а брали на попечение.

В приватной сфере данная практика продолжает существовать, но скрыто. Как полные семьи, так и одинокие матери в условиях дефицита ресурсов для воспитания детей предпочитают отдать их в бездетные семьи, которые смогут обеспечить этих детей всем необходимым. Однако на этот родители решаются не только по экономическим мотивам, но и по религиозным. Если раньше необходимость усыновления легитимировалась шаманской верой в жизнь духов предков на земле, то сегодня вторая религия бурят, буддизм, оправдывает родителей,

отдающих своих детей. Отказ от ребенка в пользу бездетных семей рассматривается как большое благодеяние. Совершение этого благодеяния оказывает положительное влияние на последующие перерождения человека и его текущую жизнь.

Источники

Габышева В. Жительница Бурятии просит помощи // Газета «Информ-Полис». 19.10.2011. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 29.07.2016. URL: <https://www.infpol.ru/133205-zhitelnitsa-buryatii-prosit-pomoshchi/>.

Жапова Я. Тепло и ласку — не по расписанию // Ежедневная общественно-политическая газета «Бурятия». 24 февраля 2011. С. 2.

Здравомыслова Е., Темкина А. Категоризация взаимодействий: конструирование идентичности в сексуальной сфере // Российский гендерный порядок: социологические подходы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. — СПб.: Изд-во Европейского университета в С.-Петербурге, 2007. С. 250–265.

Зурхай от Зунды ламы с 5 по 11 февраля // Газета «Номер один». 05.02.2014. С.10

Лебедева А. А. Семья и семейный быт Забайкалья // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. — Новосибирск: Наука, 1975. С. 81–101

Народный поэт Дамба Жалсараев // Традиция. 19 марта 2009. С. 3.

Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А. Темкиной. СПб.: ЕУСПб, 2009. — 524 с.

Слезкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. — М.: НЛО, 2008—512 с.

Филлиппс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс анализ: теория и место. — Харьков: Гуманитарный центр. 2008. — 354 с.

Ходоров Н. Психодинамика семьи // Хрестоматия феминистских текстов / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. — СПб.: Изд. Дмитрий Буланин, 2000. С. 161–162

Художник // Ежедневная общественно-политическая газета «Бурятия». 31.07.2008. С. 2.

England P. Emerging Theories of Care Work // Annual Review of Sociology. Vol. 31. 2005. P. 381–399.

Hartmann H. C. The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework // Signs. Vol. 6. № 3. 1981. P. 366–394.

Hochschild A. The Commodity Frontier // Self, Social Structure and Beliefs: Essays in Sociology / ed. by J. Alexander, G. Marx, C. Williams. Berkeley: Univ. Calif. Press, 2004. P. 38–56.

Hochschild A. The Culture of Politics: Traditional, Postmodern, Cold-Modern, and Warm-Modern Ideals of Care // Social Politics. Vol. 2. № 3. 1995. P. 331–347.

Hondagneu-Sotelo H., Avila E. “I’m Here, but I’m There”: the Meanings of Latina Transnational Motherhood // Gender and Society. Vol. 11. № 5. 1997. P. 548–571.

Oakley A. Women's Work: the Housewife, Past and Present. New York: Pantheon Books, 1974. — 275 p.

Rubin G. The Traffic in Women: “Political Economy” of Sex // Toward an Anthropology of Women / ed. by R. Reiter. New York: Monthly Review Press, 1975. P. 157–210.

Terrell J., Model J. Anthropology and Adoption // American Anthropologist. Vol. 96. № 1. 1994. P. 155–161.

Verhoef H. A. Child has Many Mothers: Views of Child Fostering in North-western Cameroon // Childhood. Vol. 12. № 3. 2005. P. 369–390.

References

England P. Emerging Theories of Care Work // Annual Review of Sociology. Vol. 31. 2005. P. 381–399.

Filipps L., Jorgensen M. V. Diskurs analiz: teoriya i mesto [Discourse analysis: theory and place]. — Har’kov: Gumanitarnyj centr. 2008. — 354 p. (in Russian).

Gabyshva V. Zhitel’nica Buryatii prosit pomoshchi [A resident of Buryatia asks for help] // Gazeta «Inform-Polis» [Newspaper “Inform-Polis”]. 19.10. 2011. [The Electronic resource]. Data of visit: 29.07.2016. URL: <https://www.infpol.ru/133205-zhitelnitsa-buryatii-prosit-pomoshchi/> (in Russian).

Hartmann H. C. The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework // Signs. Vol. 6. № 3. 1981. P. 366–394.

Hochschild A. The Commodity Frontier // Self, Social Structure and Beliefs: Essays in Sociology / ed. by J. Alexander, G. Marx, C. Williams. Berkeley: Univ. Calif. Press, 2004. P. 38–56.

Hochschild A. The Culture of Politics: Traditional, Postmodern, Cold-Modern, and Warm-Modern Ideals of Care // Social Politics. Vol. 2. № 3. 1995. P. 331–347.

Hodorov N. Psihodinamika sem’i [Psychodynamics of the Family] // Hrestomatiya feministskih tekstov [Reader of feminist texts] E. Zdravomyslova, A. Temkina (eds.). — SPb.: Izd. Dmitriy Bulanin, 2000. P. 161–162 (in Russian).

Hondagneu-Sotelo H., Avila E. “I’m Here, but I’m There”: the Meanings of Latina Transnational Motherhood // *Gender and Society*. Vol. 11. № 5. 1997. P. 548–571.

Hudozhnik [Painter] // *Ezhednevnyaya obshchestvenno-politicheskaya gazeta «Buryatiya»* [The daily social and political newspaper “Buryatiya”]. 31.07.2008. P. 2 (in Russian).

Lebedeva A. A. Sem’ya i semejnij byt Zabajkal’ya [Family and family life of Transbaikalia] // *Byt i iskusstvo russkogo naseleniya Vostochnoj Sibiri* [Life and art of the Russian population of Eastern Siberia]. — Novosibirsk: Nauka, 1975. P. 81–101 (in Russian).

Narodnyj poet Damba Zhalsaraev [People’s poet Damba Zhalsaraev] // *Tradicija* [Tradition]. 19 March 2009. P. 3 (in Russian).

Novyj byt v sovremennoj Rossii: gendernye issledovaniya povsednevnosti [New everyday life in contemporary Russia: gender studies of day life] / Pod. red. E. Zdravomyslovoi, A. Rotkirh, A. Temkinoi. SPb.: EUSPb, 2009. — 524 p. (in Russian).

Oakley A. Women’s Work: the Housewife, Past and Present. New York: Pantheon Books, 1974. — 275 p.

Rubin G. The Traffic in Women: “Political Economy” of Sex // *Toward an Anthropology of Women* / ed. by R. Reiter. New York: Monthly Review Press, 1975. P. 157–210.

Slezkin Yu. Arkticheskie zerkala. Rossiya i malye narody Severa [Arctic mirrors. Russia and small peoples of the North]. — M.: NLO, 2008–512 p. (in Russian).

Terrell J., Model J. Anthropology and Adoption // *American Anthropologist*. Vol. 96. № 1. 1994. P. 155–161.

Verhoef H. A. Child has Many Mothers: Views of Child Fostering in North-western Cameroon // *Childhood*. Vol. 12. № 3. 2005. P. 369–390.

Zdravomyslova E., Temkina A. Kategorizaciya vzaimodejstvij: konstruirovanie identichnosti v seksual’noj sfere [Categorization of interaction: the construction of identity in the sexual sphere] // [Rossijskij gendernyj poryadok: sociologicheskie podhody Russian gender order: sociological approaches] E. Zdravomyslova, A. Temkina (eds.). — SPb.: Izd-vo Evropejskogo universiteta v S.-Peterburge, 2007. P. 250–265 (in Russian).

Zhapova Ya. Teplo i lasku — ne po raspisaniyu [Warmth and affection — not in accordance with the schedule] // *Ezhednevnyaya obshchestvenno-politicheskaya gazeta «Buryatiya»* [The daily social and political newspaper “Buryatiya”]. 24 fevralya 2011. P. 2 (in Russian).

Zurhaj ot Zundy lamy s 5 po 11 fevralya [Zurhay from the Zundy Lama from 5 to 11 February] // *Gazeta «Nomer odin»* [Newspaper “Number One”]. 05.02.2014. P. 10 (in Russian).

В. А. ОДИНОВА

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И СВЕРСТНИКОВ НА ЧАСТОТУ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ

Статья посвящена оценке влияния факторов социальной среды на употребление алкоголя подростками 15–16 лет. В качестве теоретической основы исследования использованы положения общей теории преступности М. Готтфредсона и Т. Хирши, теория социального научения в версии Р. Берджесса и Р. Эйкерса и теория ожидаемого действия алкоголя. Для проверки гипотез о влиянии сверстников, родительского контроля и ожидаемого действия алкоголя на частоту употребления алкоголя подростками применен бинарный логистический регрессионный анализ. Обнаружено статистически значимое влияние на частоту потребления алкоголя подростками неэффективного родительского контроля, алкогольных норм сверстников и позитивных ожиданий алкоголя. Предложены практические рекомендации по профилактике употребления алкоголя подростками, включающие работу с родителями, с самими подростками, и усиление мер контроля по соблюдению законодательства в отношении продажи алкоголя несовершеннолетним.

Ключевые слова: алкоголь, подростки, родители, контроль, научение, ожидаемое действие алкоголя, нормы, профилактика.

Введение

Употребление алкоголя подростками вызывает большую обеспокоенность у родителей, а также специалистов органов здравоохранения, образования, социальной защиты.

Национальная алкогольная политика предусматривает меры ограничения доступности алкоголя для подростков в виде запрета на его приобретение несовершеннолетними. Однако легальные ограничения подростками преодолеваются. По данным одного из крупнейших исследований алкогольного поведения подростков 15–16 лет, в течение 30-ти дней, предшествовавших опросу, 39% респондентов лично приобретали алкоголь для собственного потребления в розничных точках, 28% употребляли алкоголь в баре, ресторане или на дискотеке (Цветкова, Антонова, Гурвич, Дубровский 2011).

Эффективность ограничительных мер ограничивается качеством исполнения законов, но главным образом, тем, что эти меры не влияют на социальные (или средовые) факторы алкогольного поведения

подростков. Под средовыми факторами подразумеваются, как правило, влияния ближайшего социального окружения — родительской семьи и группы сверстников. Чаще всего эти факторы обсуждаются в медицинской и психологической литературе. Мы рассмотрим эти факторы с точки зрения социологического подхода, который наибольшее внимание уделяет тому, как социальный контроль, социальное научение и ожидаемое действие алкоголя влияет на употребление алкоголя подростками. Злоупотребление алкоголем рассматривается в социологии как один из видов девиантного поведения (наряду с употреблением наркотиков, противоправным поведением и др.).

Влияние социального контроля на формирование девиантного поведения рассматривается в Общей теории преступности М. Готтфредсоном и Т. Хирши (Gottfredson, Hirschi 1990). Авторы показывают, что все люди испытывают девиантные импульсы, однако одни успешно им противостоят, другие им поддаются. Способность противостоят девиантным импульсам является следствием развитого самоконтроля. Самоконтроль развивается в детстве, под воздействием родительских воспитательных практик. Условиями успешного формирования самоконтроля являются теплые эмоциональные связи, контроль поведения детей и обратная связь в отношении нарушений (коррекция или наказание). Соответственно, низкий самоконтроль и девиантные тенденции развивается в условиях недостаточного родительского контроля в семьях.

Теория социального научения Р. Берджесса и Р. Эйкенса возникла на основе пересмотра авторами классической теории *дифференцированной связи* Э. Сазерленда, которая объясняет причины возникновения преступного поведения, в терминах теорий подкрепления (И. П. Павлов, Р. Скиннер). Согласно этой теории, социальное научение алкогольному поведению осуществляется через процесс наблюдения, коммуникации и подкрепляется вознаграждением или наказанием (Akers et al. 1979; Burgess, Akers 1966). Источники подкрепления могут иметь как социальную природу (например, принятие сверстниками, облегчение социального взаимодействия), так и психофармакологическую (например, снижение тревожности в результате влияния алкоголя на центральную нервную систему). Отсутствие родительских санкций и контроля в отношении алкогольного поведения детей также работают как подкрепление.

Самоконтроль и социальное научение в последующие десятилетия стали широко применяться для объяснения девиантного поведения

подростков, причем не только правонарушений, но и употребления различных психоактивных веществ.

Теория ожидаемого действия развивает идеи социального научения применительно к формированию алкогольного поведения. Согласно теории ожидаемого действия алкоголя, позитивные ожидания от приема алкоголя (например, расслабленность, облегчение социальных контактов и т. д.) обладают подкрепляющим эффектом. Позитивные ожидания формируются у ребенка еще до того, как он впервые пробует алкоголь, под влиянием культуры, семьи и сверстников (Jones et al. 2001; Christiansen 1991).

Все три теории прошли серьезную эмпирическую проверку в зарубежных эмпирических исследованиях. Серия крупных, в том числе, лонгитюдных исследований, подтвердили, что алкогольное поведение родителей, родительский контроль и санкции в отношении потребления алкоголя детьми действительно значимо влияли на алкогольное поведение детей (Jackson et al. 1999; Jackson et al. 2014; Latendresse et al. 2008; Nash et al. 2005; Ryan et al. 2010; Yu 2003).

Влияние сверстников на формирование алкогольного поведения детей раннего подросткового возраста формируется по механизму научения, что включает в себя имитацию алкогольного поведения и его подкрепление (Bahr, Hoffmann 2010; Trucco et al. 2011).

Проспективные исследования показали, что позитивные ожидания от приема алкоголя связаны как с ранней пробой, так и со злоупотреблением алкоголем (Connog et al. 2011).

Отечественные исследования употребления алкоголя подростками в русле теорий социального научения, контроля и ожидаемого действия алкоголя довольно немногочисленны. Имитация детьми алкогольного поведения родителей отмечается в классических трудах по наркологии (Пятницкая 1988). Влияние родительской семьи на модели алкогольного поведения детей изучались Я. И. Гилинским и И. Н. Гурвичем с коллегами (2001), В. В. Брюно (2010), Л. А. Журавлевой (2000), Т. А. Гурко (1996), А. В. Копытовым (2012). Как отмечает И. Ф. Дементьева (2011), в связи со снижением родительского контроля возрастает вероятность для ребенка попасть в девиантную среду. М. В. Леонтьева (2007) приводит результаты популяционного исследования молодежи, иллюстрирующие позитивные ожидания от приема алкоголя («за компанию», «для поднятия настроения»).

Было обнаружено, что для российских подростков характерны более выраженные как позитивные, так и негативные ожидания от

приема алкоголя по сравнению с подростками из других европейских стран, наряду с более высокими уровнями потребления крепких напитков и частоты тяжелой интоксикации (Hibbell et al. 1999).

Очевидно, что родители могут существенно повлиять употребление алкоголя подростками различными способами. По результатам недавнего систематического обзора лонгитюдных исследований, было обнаружено, что более поздняя проба алкоголя детьми связана со следующими родительскими влияниями: тип алкогольного поведения родителей, ограничение доступности алкоголя для ребенка, родительский контроль, качество детско-родительских отношений, степень участия родителей в жизни детей. Более низкий уровень дальнейшего потребления алкоголя подростками был связан, помимо перечисленных факторов, с осуждением родителями подросткового потребления алкоголя, общей дисциплиной и родительской поддержкой (Ryan et al. 2010).

Конечно, социальное окружение не является единственной причиной употребления алкоголя подростками, поскольку на это поведение воздействуют и другие факторы, в том числе свойственные индивидам биологические, генетические или психологические особенности и полигенная предрасположенность (Гурвич 1999). Изучение социальных факторов употребления алкоголя является важной эмпирической основой проектирования научно-обоснованных профилактических программ, ориентированных на подростковые популяции (Цветкова и др. 2013).

Поскольку российские эмпирические данные о влиянии социального окружения на потребления алкоголя подростками ограничены, эта статья призвана восполнить пробел. **Целью** исследования является количественная оценка, с применением множественного регрессионного анализа, влияния связанных с семейной и подростковой средой факторов на частоту употребления алкоголя подростками 15–16 лет.

Методология

Оценка вклада связанных с социальным окружением факторов в частоту употребления алкоголя подростками выполнена на основе вторичного анализа эмпирической базы количественного исследования употребления психоактивных веществ среди учащихся. Исследование было проведено Факультетом психологии СПбГУ в ноябре 2009 — феврале 2010 гг. на территории Северо-Западного Федерального округа

Российской Федерации. Данные были получены путем опроса по стандартизованному вопроснику случайной репрезентативной выборки учащихся школ, лицеев и колледжей в возрасте 15–16 лет. Объем выборки составил 8626 человек. Описание выборки, инструментария, процедур исследования и обзор результатов содержится в опубликованном в сети Интернет отчете (Цветкова и др. 2011).

Изучалось влияние мер контроля родителей, эмоциональной связи с родителями, моделей потребления алкоголя среди братьев/сестер, воспринимаемой распространенности злоупотребления алкоголем среди друзей, эмоциональной связи с друзьями, и ожидаемого действия алкоголя на частоту потребления алкоголя.

Частота потребления алкоголя — одна из ключевых характеристик алкогольного поведения (Stockwell et al 2000). Считается, что частота потребления определяется социальным контекстом, в отличие от разовой дозы алкоголя, которая рассматривается как аспект потребления алкоголя, находящийся в большей степени под индивидуальным контролем (Vogel-Sprott 1974). Вопрос о частоте употребления алкоголя обладает высокой валидностью и нередко используется для идентификации подростков с проблемным потреблением алкоголя (Chung et al. 2012).

В нашем исследовании частота употребления алкоголя оценивалась с помощью вопроса «Как давно Вы употребляли алкоголь в последний раз?». Ответы давались по 6-балльной именованной порядковой шкале, варьирующей от «1–7 дней назад» до «никогда не употреблял». В отличие от более традиционной формулировки о частоте употребления алкоголя за последний год, на этот вопрос подросткам легче отвечать. В дальнейшем математико-статистическом анализе переменная была дихотомизирована по медиане, значение которой для распределения шкалы ответов соответствовало ответу «14 дней назад». Подростки, употреблявшие алкоголь в последний раз не более 14-ти дней назад, составили 41,2% всей выборки. Далее мы будем называть их «часто употребляющими» алкоголь подростками.

Меры контроля со стороны родителей изучались в нескольких аспектах. Во-первых, это наличие правил поведения для детей; во-вторых, это степень, в которой родители в действительности контролируют, чем занимаются дети в часы досуга. В первом аспекте вопрос звучал следующим образом: «Мои родители устанавливают четкие правила о том, что мне можно и нельзя делать, когда я не дома». Действительная степень контроля изучалась с помощью вопроса «Знают

ли Ваши родители, где Вы бываете в субботу вечером?». Степень родительского контроля в обоих случаях измерялась с помощью 5-балльной шкалы ответов («Почти всегда», «Часто», «Иногда», «Редко», «Почти никогда»).

Эмоциональные связи с родителями оценивались с помощью утверждения «Мне легко получить эмоциональную поддержку от моих матери и отца» и 5-балльной шкалы ответов, варьирующих от «почти всегда» до «почти никогда».

Наличие злоупотребляющих алкоголем братьев и сестер оценивалось с помощью вопроса: «Ваши старшие братья или сестры пьют до состояния алкогольного опьянения?», варианты ответов: «да», «нет», «не знаю», «у меня нет братьев/сестер». В данном исследовании это был единственный вопрос, который позволял получить представление об алкогольном поведении членов семьи респондента. Аналогичный вопрос о родителях не задавался.

Воспринимаемую респондентом распространенность употребления алкоголя среди друзей мы оценивали с помощью вопроса «Как Вы думаете, сколько ваших друзей пьют до состояния алкогольного опьянения?» с 6-балльной шкалой ответов, варьирующей от «ни одного» до «все».

Наличие эмоциональной связи со сверстниками оценивалось с помощью вопроса «Как правило, насколько Вы довольны своими отношениями с друзьями?» с 6-балльной шкалой ответов, варьирующей от «очень доволен» до «совсем не доволен».

Ожидаемое действие алкоголя оценивалось с помощью вопроса «Насколько вероятно, чтобы лично с Вами произошло любое из перечисленных ниже событий после того, как Вы выпьете?» и списка из вариантов, как позитивных, так и негативных (например, «ощущение открытости, дружелюбия», «плохое самочувствие», «сильное веселье», «забываю свои проблемы»). Респонденты давали ответы по 6-балльной шкале, варьирующей от 5 («Весьма вероятно») до 1 («Очень маловероятно»).

Для оценки прочности связей респондента со школой оценивался школьный абсентеизм: респондентов просили указать количество учебных дней, пропущенных за 30 дней, предшествовавших опросу, без уважительной причины (т. е. из-за прогулов).

Социальный статус родительской семьи оценивался с помощью двух характеристик: образования родителей и уровня благосостояния семьи, по оценке респондентов. Экономическая доступность алкого-

ля оценивалась с помощью вопроса о том, какую сумму карманных денег подростки могут потратить без контроля родителей в неделю. Для оценки состава семьи респонденты выбирали из перечня всех родственников, с которыми они проживают.

Для проверки гипотезы о влиянии сверстников, родительского контроля и ожидаемого действия алкоголя на частоту употребления алкоголя подростками был выполнен математико-статистический анализ, состоящий из двух этапов.

На первом этапе были оценены связи факториальных переменных с результирующей переменной — частотой потребления алкоголя — с помощью критерия χ^2 Пирсона для переменных, измеренных в номинативных шкалах, и с помощью F -критерия Фишера для переменных, измеренных в порядковых шкалах.

На втором этапе анализа все факториальные переменные, статистически значимо связанные с частотой употребления алкоголя (на уровне $p \leq 0,05$), были введены в модель бинарного логистического регрессионного анализа. В регрессионном анализе все переменные были дихотомизированы по медиане. Зависимая переменная принимала два значения: 1 — употребление алкоголя в течение последних 14-дней, 0 — отрицание употребления алкоголя в течение последних 14-дней.

В качестве контрольных переменных в модель были введены пол, социальный статус (по показателям образования родителей и благосостояния семьи) и показатель экономической доступности алкоголя (по сумме карманных денег, которые подростки могут тратить в неделю без контроля родителей). Расчеты выполнены в статистическом пакете SPSS 16.0.

Результаты

Вначале рассмотрим связи каждого из гипотезируемых социальных факторов с частотой потребления алкоголя в одномерном статистическом анализе. Обнаружилось, что частота употребления алкоголя статистически значимо связана со всеми гипотезируемыми факторами семейного окружения: сообщением о том, что старшие братья или сестры употребляют алкоголь до состояния опьянения ($\chi^2 = 140$, $p \leq 0,001$); с родительским контролем в виде установления правил ($\chi^2 = 10$, $p \leq 0,001$); с осведомленностью родителей о местопребывании их детей в субботу вечером ($\chi^2 = 318$; $p \leq 0,001$); с возможностью получить эмоциональную поддержку от отца или матери ($\chi^2 = 28$, $p \leq 0,001$);

с проживанием в полной семье (с обоими родными родителями) ($\chi^2 = 60, p \leq 0,001$); с возможностью распоряжаться более крупными суммами денег без контроля со стороны родителей (F Фишера = 155; $p \leq 0,001$).

Все внесемейные социальные факторы также оказались статически значимо связаны с частотой употребления алкоголя подростками, в том числе, оценка респондентом количества друзей, которые пьют до состояния алкогольного опьянения ($\chi^2 = 564, p \leq 0,001$), удовлетворенность отношениями с друзьями ($\chi^2 = 27, p \leq 0,001$); школьный абсентеизм ($\chi^2 = 366, p \leq 0,001$). Половые различия в частоте употребления алкоголя были статически не значимы.

Социальный статус родительской семьи статистически значимо связан с частотой потребления алкоголя у подростков. С ростом уровня образования родителей наблюдается снижение доли подростков употреблявших алкоголь в течение последних двух недель ($\chi^2 = 38, p \leq 0,001$).

Доля подростков, употреблявших алкоголь в течение последних двух недель, была статистически значимо выше в семьях, где семейное благосостояние оценивалось респондентами как плохое ($\chi^2 = 14, p \leq 0,05$).

Обнаружены статически значимые связи частоты употребления алкоголя и ожидаемых последствий алкоголизации, в частности, в отношении следующих последствий: «забываю свои проблемы» (F Фишера = 328; $p \leq 0,001$), «сильное веселье» (F Фишера = 448; $p \leq 0,001$) «ощущение открытости, дружелюбия» (F Фишера = 432; $p \leq 0,001$), «плохое самочувствие» (F Фишера = 391; $p \leq 0,001$). Таким образом, более частый прием алкоголя связан, в представлениях подростков, с преодолением стресса, положительными эмоциями, облегчением социальных контактов, более редкий — с плохим самочувствием.

В логистическом регрессионном анализе наиболее значимыми (согласно значению стандартизованного бета-коэффициента) предикторами высокой частоты потребления алкоголя выступают следующие факторы (табл. 1): алкоголизация друзей, прогулы, ожидаемое позитивное действие алкоголя, удовлетворенность отношениями с друзьями, а также факторы семейного окружения — сниженный контроль со стороны родителей над времяпрепровождением детей и расходованием ими карманных денег, проживание в семье, отличающейся от полной с обоими родителями, алкоголизация старших братьев и сестер, более низкий уровень образования матери (но не отца).

Таблица 1

**Влияние предикторов модели на частоту потребления алкоголя
(бинарный логистический регрессионный анализ)**

Факторы	B	S. E.	Wald	Exp(B)	95,0% CI	
					min	max
Пол (мужской)	-0,035	0,050	0,49	0,96	3,339	4,250
Постоянно проживает с обоими родными родителями (да)	-0,293	0,049	35,4	0,74***	0,723	0,910
Взрослые братья и сестры пьют до состояния алкогольного опьянения (да)	0,372	0,068	29,9	1,45***	1,043	1,409
Мои родители устанавливают четкие правила о том, что мне можно и нельзя делать, когда я не дома («никогда, почти никогда»)	0,004	0,053	0,0	1,00	0,863	1,109
Знают ли Ваши родители, где Вы бываете в субботу вечером («знают иногда», «как правило, не знают»)	0,370	0,067	30,1	1,44***	1,248	1,680
Мне легко получить эмоциональную поддержку от моих матери и отца («почти никогда», «редко»)	0,065	0,060	1,1	1,06	0,855	1,131
Пропулы школы за последние 30 дней (1 и более)	0,458	0,051	81,5	1,58***	1,283	1,622
Сколько ваших друзей пьют до состояния алкогольного опьянения («большинство», «все»)	0,554	0,052	111,7	1,74***	1,472	1,910
Удовлетворенность отношениями с друзьями («не очень доволен», «совсем не доволен»).	-0,181	0,086	4,4	0,83*	0,617	0,937
Образование отца (высшее)	0,032	0,054	0,3	1,03	0,714	0,920
Образование матери (высшее)	-0,161	0,052	9,4	0,85**	0,679	0,867

Окончание таблицы 1

Факторы	B	S. E.	Wald	Exp (B)	95,0% CI	
					min	max
Уровень благосостояния («примерно на среднем уровне» / «лучше среднего» / «очень хорошее»)	-0,067	0,107	0,3	0,93	0,788	1,287
Сумма денег, которую вы тратите в неделю на свои нужды без контроля родителей (≥ 500 рублей)	0,368	0,049	55,5	1,44***	0,958	1,208
Ожидаемое действие алкоголя: «забываю свои проблемы» ($\geq 2,5$)	0,340	0,054	39,2	1,40***	1,107	1,424
Ожидаемое действие алкоголя: «ощущение открытости, дружелюбия» ($\geq 3,5$)	0,509	0,057	80,2	1,66***	1,399	1,846
Ожидаемое действие алкоголя: «плохое самочувствие» ($\geq 2,5$)	-0,122	0,056	4,6	0,88*	0,956	1,237
Ожидаемое действие алкоголя: «сильное веселье» (≥ 3)	0,389	0,056	47,9	1,47***	1,389	1,817

Примечание: в скобках указаны варианты ответов, принимающие значение 1; мера согласия по методу Нагелькерке $R^2 = 0,194$.

Условные обозначения: B — значение коэффициента, S. E. — стандартная ошибка, Wald — коэффициент Вальда, Exp (B) — экспонента от значения коэффициента, CI — доверительный интервал для Exp (B); min — нижняя граница CI; max — верхняя граница CI.

* — уровень значимости $p \leq 0,05$.

** — уровень значимости $p \leq 0,01$.

*** — уровень значимости $p \leq 0,001$.

Контроль в форме установления чётких правил о том, что можно и нельзя делать, когда ребенок вне дома, оказался статистически не значим в многомерном анализе, что говорит о его неэффективности, в отличие от действительных знаний родителей о том, где проводит свободное время их ребенок. Качество эмоциональной поддержки в семье также не оказало значимого влияния на частоту потребления алкоголя подростками в многомерной модели.

Статистически значимо в модель вошли все ожидаемые последствия употребления алкоголя, как позитивные («забываю свои проблемы», «ощущение открытости, дружелюбия», «сильное веселье»), так и негативные («плохое самочувствие»). Таким образом, негативные ожидания от употребления алкоголя препятствуют его частому потреблению, а позитивные — способствуют.

Проживание в полной семье с обоими биологическими родителями повышает уровень контроля над поведением ребенка со стороны родителей и предотвращает частое потребление алкоголя. В неполной семье и в семье с замещающим родителем уровень контроля снижен. Пропуски также свидетельствуют о сниженном контроле, как со стороны семьи, так и со стороны школы.

Исследование обладает методическими ограничениями, обусловленными кросс-секционным дизайном, который не позволяет делать однозначные выводы о причинно-следственных связях. Репрезентативность результатов ограничена тем, что из исследований, выполненных по месту обучения респондентов, как правило, выпадают «прогуливающие» и не вовлечённые в систему образования подростки.

Выводы и рекомендации

Подростковый алкоголизм причислен к ряду наиболее острых проблем отечественного здравоохранения, а разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей подчеркивается как одна из приоритетных мер, направленных на развитие воспитания и социализацию детей. Важно не только повышение качества исполнения законодательства в отношении продажи алкоголя несовершеннолетним, но и воздействие на нормы, установки и поведенческие модели потребления алкоголя (Александров 2010; Арефьев 2002). При этом наблюдается острая нехватка научно обоснованных подходов к решению проблем профилактики злоупотребления алкоголя (Заиграев 2009).

Мы оценили влияние сверстников, родительского контроля и ожидаемого действия алкоголя на частоту потребления алкоголя подростками. Наибольшая вероятность частого потребления алкоголя наблюдается у подростков, которые общаются со злоупотребляющими алкоголем сверстниками, удовлетворены этими отношениями, плохо контролируются родителями, прогуливают школу и обладают позитивные опытом и ожиданиями в отношении употребления алкоголя.

Полученные нами данные о влиянии родителей, сверстников и ожидаемого действия алкоголя на вовлечение подростков в частое употребление позволяют сформулировать спектр обоснованных стратегий, направленных на предотвращение этого вовлечения, которые могут быть реализованы как самими родителями, так и в рамках профилактических программ.

Позитивные ожидания от употребления алкоголя формируются, в первую очередь, под влиянием норм и установок по отношению к употреблению алкоголя в родительской семье. Дети замечают, сколько и в каких социальных ситуациях родители употребляют алкоголь, включая употребление в ответ на стресс, болезнь, или событие. Таким образом, родителям необходимо исключить потребление алкоголя в присутствии детей, а также знакомство детей с алкоголем по родительской инициативе.

Родители должны владеть эффективными стратегиями контроля, коррекции и наказания в случае нежелательного поведения. Важно, чтобы контроль был реализован не столько в виде правил и запретов, сколько в виде участия в жизни детей.

Вовлекая детей в позитивные дружеские взаимоотношения со сверстниками через спорт, увлечения и культурные мероприятия, родители могут снизить вероятность нежелательного влияния сверстников.

Родители могут подготовить ребенка к ситуациям, в которых могут происходить пробы алкоголя и научить их занимать твердую позицию и говорить «нет».

Профилактика употребления алкоголя силами родителей требует знаний и навыков. Нередко родителям трудно найти «нужные слова» и «подходящий момент» для того, чтобы поговорить с детьми об употреблении алкоголя и других психоактивных веществ. В этом им могут помочь профилактические программы, ориентированные на родителей, и направленные на формирование эффективных стратегий контроля и коммуникации с детьми и информирование о механизмах формирования алкогольного поведения детей. Программы для родителей могут быть реализованы в виде тренингов, совместных мероприятий с детьми, видео- или аудио- информационных материалов (например, в форме диалогов родителей и детей, иллюстрирующих примеры эффективной коммуникации по вопросам употребления алкоголя и другим смежным темам).

Программы профилактики потребления алкоголя, направленные на самих подростков, должны учитывать имеющийся у них позитивный

опыт или ожидания в отношении употребления алкоголя. Фокусом профилактики должно стать изменение ожиданий в отношении употребления алкоголя и формирование жизненных навыков, помогающих подросткам справляться с трудностями этого возрастного периода.

Работа с родителями и профилактические программы для детей должны дополнять друг друга, поскольку семья играет ключевую роль в вовлечении подростков в употребление алкоголя, и может блокировать профилактические меры, направленные на детей (Александров и др. 2010).

В условиях ограниченных ресурсов работу по профилактике можно сфокусировать на «группах риска». К «группам риска» относятся: подростки из семей, отличающихся от семьи с обоими родными родителями, воспитанники детских домов; подростки из семей, в которых родители или другие члены семьи злоупотребляют алкоголем или состоят на наркологическом учете; безнадзорные подростки.

Психосоциальная профилактика должна быть поддержана усилением мер по ограничению продажи алкоголя несовершеннолетним. В числе стратегий по усилению этих мер можно назвать кампании по повышению ответственности дистрибьюторов алкогольной продукции, тренинги для продавцов и кассиров, информационные кампании для покупателей, «контрольные закупки» и другие меры.

Источники

Александров, А. А., Котова, М. Б., Розанов, В. Б. & Климович, В. Ю. Опыт профилактики употребления алкоголя среди детей и подростков // Вопросы наркологии, № 2. — 2010. — С 57–64

Арефьев А. Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические исследования. — 2002. — №. 8. — С. 97–105.

Брюно В. В. Основные тенденции и факторы риска в алкогольном поведении молодежи: связь с девиацией // Информационно-аналитический вестник. Социальные аспекты здоровья населения. — 2010. [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/224/30/> (13.09.2010). УДК: 613.81.053:316.624

Гилинский Я., Гурвич И., Русакова М., Симпура Ю., Хлопушин Р. Девиантность подростков: Теория, методология, эмпирическая реальность. Учебно-научное издание. — СПб.: Медицинская пресса, 2001.

Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.

Гурко Т. А. Особенности развития личности подростков в различных типах семей // Социологические исследования. — 1996. — №. 3. — С. 81–90.

Дементьева И. Ф. Факторы риска современного детства // Социологические исследования. — 2011. — №. 10. — С. 108–114.

Журавлева Л. А. Факторы и условия наркотизации молодежи // Социологические исследования. — 2000. — №. 6. — С. 43–48.

Заиграев Г. Г. Алкоголизм и пьянство в России. Пути выхода из кризисной ситуации // Социологические исследования. — 2009. — №. 8. — С. 74–84.

Копытов А. В. Роль семейной среды в формировании алкогольной зависимости у подростков и молодых людей мужского пола // Вестник Витебского государственного медицинского университета. — 2012. — Т. 11. — №. 2.

Леонтьева М. В. Мониторинг девиантного поведения учащихся и студентов Архангельска // Социологические исследования. — 2007. — №. 12. — С. 104–107.

Методология разработки профилактических проектов в сфере здоровья / Л. А. Цветкова, Н. А. Антонова, К. Ю. Ерицян; Санкт-Петербургский государственный университет. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013.

Пятницкая И. Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. М.: Изд-во Медицина, 1988.

Цветкова Л. А., Антонова Н. А., Гурвич И. И., Дубровский П. Г. Изучение употребления психоактивных веществ среди учащихся в возрасте 15–16 лет в Северо-Западном Федеральном округе РФ. СПб.: Факультет психологии СПбГУ, 2011. Режим доступа: URL: <http://www.psy.spbu.ru/uploads/science/otchet.pdf> (дата обращения: 29.01.2016).

Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., Radosevich, M. Social learning and deviant behavior: a specific test of a general theory // American Sociological Review. — 1979. — Т. 44. — С. 636–655.

Bahr S. J., Hoffmann J. P. Parenting Style, Religiosity, Peers, and Adolescent Heavy Drinking // Journal of Studies on Alcohol and Drugs. — 2010. — Т. 71. — №. 4. — С. 539–543.

Burgess R. L., Akers R. L. A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior // Soc. Probl. 1966. Т. 14. С. 128–147.

Christiansen B. A. Alcoholism and Memory: Broadening the Scope of Alcohol-Expectancy Research // Psychological Bulletin. — 1991. — Т. 110. — №. 1. — P. 137–146.

Chung T. et al. Drinking frequency as a brief screen for adolescent alcohol problems // Pediatrics. Volume 129, Number 2. — 2012. — P. 2011–2018.

Connor J. P., George S. M., Gullo M. J., Kelly A. B., Young R. M. A Prospective Study of Alcohol Expectancies and Self-Efficacy as Predictors of Young

Adolescent Alcohol Misuse. Alcohol and Alcoholism. 2011;46(2): 161–9. DOI: 10.1093/alcalc/agr004.

Gottfredson M. R., Hirschi T. A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University press, 1990.

Hibbell B., Anderson B., Bjamason T. Alcohol and other drug use among students in 30 European countries—the 1999 ESPAD Report //Stockholm: Council for Information on Alcohol and Other Drugs, Council of Europe, Pompidou Group. — 1999. Режим доступа: URL: http://www.espad.org/uploads/espad_reports/1999/the_1999_espad_report.pdf (access date: 29.01.2016).

Jackson C., Henriksen L., Dickinson D. Alcohol-specific socialization, parenting behaviors and alcohol use by children //Journal of studies on alcohol. — 1999. — Т. 60. — №. 3. — С. 362–367.

Jackson K. M. et al. Willingness to drink as a function of peer offers and peer norms in early adolescence //Journal of studies on alcohol and drugs. — 2014. — Т. 75. — №. 3. — С. 404.

Jones B. T., Corbin W., Fromme K. A review of expectancy theory and alcohol consumption //Addiction. — 2001. — Т. 96. — №. 1. — С. 57–72.

Latendresse S. J. et al. Parenting mechanisms in links between parents' and adolescents' alcohol use behaviors //Alcoholism: Clinical and Experimental Research. — 2008. — Т. 32. — №. 2. — С. 322–330.

Nash S. G., McQueen A., Bray J. H. Pathways to adolescent alcohol use: Family environment, peer influence, and parental expectations //Journal of Adolescent Health. — 2005. — Т. 37. — №. 1. — С. 19–28.

Ryan S. M., Jorm A. F., Lubman D. I. Parenting factors associated with reduced adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. — 2010. — Т. 44. — №. 9. — С. 774–783.

Stockwell, T, T Chikritzhs, H Holder, Eric Single, M Elena, D Jernigan, and D Dawson. “International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Harm.” World Health Organization (2000): 1–193. doi:10.1007/Springer-Reference_301104.

Trucco E. M., Colder C. R., Wieczorek W. F. Vulnerability to peer influence: A moderated mediation study of early adolescent alcohol use initiation // Addictive behaviors. — 2011. — Т. 36. — №. 7. — С. 729–736.

Vogel-Sprott, M. Defining “light” and “heavy” social drinking; research implications and hypotheses // Quarterly Journal of Studies on Alcohol. — 1974. — № 35, pp. 1388–1392.

Yu J. The association between parental alcohol-related behaviors and children's drinking //Drug and alcohol dependence. — 2003. — Т. 69, №. 3. — С. 253–262. doi:10.1016/S0376–8716(02)00324–1

References

Aleksandrov, A. A., Kotova, M. B., Rozanov, V. B. & Klimovich, V. YU. Opyt profilaktiki upotrebleniya alkogolya sredi detej i podrostkov [Experience in the prevention of alcohol use among children and adolescents] // *Voprosy narkologii*, № 2. — 2010. — S 57–64.

Aref'ev A. L. Pokolenie, kotoroe teryaet Rossiya [The generation that Russia is losing] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 2002. — №. 8. — S. 97–105.

Bryuno V. V. Osnovnye tendentsii i faktory riska v alkogol'nom povedenii molodezhi: svyaz' s devitsiej [The main trends and risk factors in the alcoholic behavior of young people: a correlation with deviation] / *Informatsionno-analiticheskij vestnik. Sotsial'nye aspekty zdorov'ya naseleniya*. — 2010. [EHlektronnyj resurs]. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/224/30/> (13.09.2010).

Gilinskij YA., Gurvich I., Rusakova M., Simpura YU., KHlopushin R. Deviantnost' podrostkov: Teoriya, metodologiya, ehmpiricheskaya real'nost' [Adolescent deviance: Theory, methodology, empirical reality.]. *Uchebno-nauchnoe izdanie*. — SPb.: Meditsinskaya pressa, 2001.

Gurvich I. N. Sotsial'naya psikhologiya zdorov'ya. [Social Psychology of Health] — SPb.: Izd-vo SPbGU, 1999.

Gurko T. A. Osobennosti razvitiya lichnosti podrostkov v razlichnykh tipakh semej [Features of personality development of adolescents in various types of families] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 1996. — №. 3. — S. 81–90.

Dement'eva I. F. Faktory riska sovremennogo detstva [Risk factors for modern childhood] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 2011. — №. 10. — S. 108–114.

ZHuravleva L. A. Faktory i usloviya narkotizatsii molodezhi [Factors and conditions of drug use among youth] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 2000. — №. 6. — S. 43–48.

Zaigraev G. G. Alkogolizm i p'yanstvo v Rossii. Puti vykhoda iz krizisnoj situatsii [Alcoholism and Binge Drinking in Russia. Ways out of a crisis situation] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 2009. — №. 8. — S. 74–84.

Kopytov A. V. Rol' semejnoy sredy v formirovanii alkogol'noj zavisimosti u podrostkov i molodykh lyudej muzhskogo pola [The role of the family environment in the formation of alcohol dependence in adolescents and young males] // *Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta*. — 2012. — T. 11. — №. 2.

Leont'eva M. V. Monitoring deviantnogo povedeniya uchashhikhysya i studentov Arkhangel'ska [Monitoring of deviant behavior of students and students of Arkhangel'sk] // *Sotsiologicheskie issledovaniya*. — 2007. — №. 12. — S. 104–107.

Metodologiya razrabotki profilakticheskikh proektov v sfere zdorov'ya [Methodology for the development of preventive projects in health] / L. A. TSvetkova, N. A. Antonova, K. YU. Eritsyan; Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2013.

Pyatnitskaya I. N. Zloupotreblenie alkogolem i nachal'naya stadiya alkogolizma [Alcohol abuse and the initial stage of alcoholism.]. M.: Izd-vo Meditsina, 1988.

TSvetkova L. A., Antonova N. A., Gurvich I. I., Dubrovskij R. G. Izuchenie upotrebleniya psikhoaktivnykh veshhestv sredi uchashhikhsya v vozraste 15–16 let v Severo-Zapadnom Federal'nom okruge RF [The study of the use of psychoactive substances among students aged 15–16 years in the North-West Federal District of the Russian Federation.]. SPb.: Fakul'tet psikhologii SPbGU, 2011. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psy.spbu.ru/uploads/science/otchet.pdf> (дата обращения: 29.01.2016).

Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., Radosevich, M. Social learning and deviant behavior: a specific test of a general theory // *American Sociological Review*. — 1979. — Т. 44. — С. 636–655.

Н. Н. ЦВЕТАЕВА

**ОТ ТРАДИЦИИ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ:
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СЕМЕЙНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

Результаты целого ряда исследований свидетельствуют о нелинейном характере глобального процесса демографической модернизации и проблематизируют неоднозначность этого процесса в разных его проявлениях. В статье представлены результаты качественного исследования, которые дают возможность дополнить некоторые характеристики этой проблемы. На основе автобиографических нарративов женщин двух поколений анализируются изменения в семейных и гендерных отношениях в постсоветское время. В статье обсуждаются следующие вопросы: устойчивость традиционных норм и ценностей в семейных и гендерных отношениях, противоречивое сочетание традиционных норм и ценностей с эгалитарными установками советской эмансипации, противоречия между представлениями женщин о семейных и гендерных отношениях и реальными практиками их семейной жизни. Автор делает выводы, что в постсоветское время происходят изменения во взглядах женщин на семейные и гендерные отношения, которые характеризуются усилением независимости и прагматических ориентаций в этих отношениях. Эти изменения автор рассматривает как одну из определяющих тенденций глобального процесса демографической модернизации — индивидуализацию частной жизни современного человека.

Ключевые слова: качественное исследование, автобиографические нарративы, демографическая модернизация, семейные и гендерные отношения, межпоколенческие различия.

Введение

Качественное социологическое исследование, эмпирическим материалом которого являются автобиографические нарративы (истории жизни, дневники, переписка и другие свидетельства биографического характера обычных людей)¹ дает одну из возможностей исследовать,

¹ Термин «нарратив» используется в качественных исследованиях для обозначения любых текстовых данных биографического плана (дневников, писем, разговоров и т. д.), чтобы подчеркнуть «качественный» характер изучаемого материала. Подробнее о проблемах использования этого термина см.: (Ярская-Смирнова 1997; Пузанова, Троцук 2003; Троцук 2006).

как протекают глобальные социальные процессы на микроуровне социальной жизни, на уровне локальных форм существования ее ценностных основ, социальных установок и нормативных ориентаций повседневной жизни людей. В современной социологии такие нарративы сегодня уже признанный источник как социального знания, так и сохранения исторической и культурной памяти общества, который расширяет горизонт видения и понимания происходящих в обществе социально-культурных изменений. В методологии качественного исследования автобиографические нарративы рассматриваются не только как свидетельства о реальности, но и как социальная конструкция, коммуникативная стратегия, анализ которой раскрывает субъективную сторону исторических процессов и, тем самым, позволяет понять, как складываются и как изменяются ценностные основы общества (Семенова 1998; Голофаст 2000; Готлиб 2004; Козлова 2000). Заключенный в таких нарративах опыт жизни людей, раскрывая многообразие и сложность реальной жизни, продуцирует гипотезы для изучения еще не выраженных ясно тенденций общественного развития. Это особенно важно для изучения социально-культурных изменений, которые, как очевидно, не происходят моментально, а накапливаются в результате множества невидимых микроисторий в повседневной жизни людей, и только спустя какое-то время, казалось бы, вдруг, проявляются как статистический факт, как привычное для традиционных социологических опросов репрезентативное обобщение.

Концептуализация проблемы и некоторые сопоставления

Изменения нормативных представлений и ориентаций в сфере семейных и гендерных отношений рассматриваются сегодня в контексте глобальных тенденций, получивших название второго демографического перехода, или демографической модернизации. К этим тенденциям относят нуклеаризацию и малодетность семьи, увеличение возраста вступления в брак и рождения детей и, как результат, усиливающуюся индивидуализацию частной жизни, расширение области индивидуальной свободы и возможностей выбора индивидуального жизненного пути (Демографическая модернизация России 2006).

Важно отметить, что уже в советское время анализировались некоторые из этих тенденций, свидетельствующие о встроенности российской семьи в общеевропейский модернизационный процесс. Так, в монографии «Семья в крупном городе», основанной на ряде

исследований конца 70-х — начала 80-х годов XX века, были сделаны выводы, которые вполне созвучны современным исследованиям демографической модернизации. Прежде всего, это выводы об эволюции нормативного сознания российской семьи в сторону симметрии мужских и женских моделей поведения, индивидуализации семейных ролей и межпоколенческих отношений и др. В этом же контексте анализировалась еще одна важная характеристика происходящих в этой сфере изменений. Речь шла о неоднозначной динамике нормативного сознания внутри семьи, о диссонансах между нормативными ориентациями членов семьи и их реальным поведением, которые во многом определялись устойчивостью традиционных норм и ценностей семейного поведения. И, наконец, все эти характеристики нормативного сознания в этой сфере рассматривались в рамках усиливающейся тенденции индивидуализации частной жизни современного человека, которая анализируется и сегодня как одна из определяющих характеристик демографической модернизации (Голофаст 2004: 198–216).

В постсоветское время системная трансформация общества расширила области демографической модернизации, породив сравнительно новые для российского общества тенденции: снижение брачности, увеличение количества нерегистрируемых браков, увеличение внебрачных рождений, разделение института брака, семьи, родительства, супружества и др. (Елисеева, Клецин 2010:145–146). Однако, несмотря на то, что теперь процесс демографической модернизации приобрел более масштабный характер, результаты социологических исследований, как и раньше, ставят вопросы о неоднозначной динамике нормативного сознания в этой сфере, о разрывах и несоответствиях между меняющимися в новых условиях практиками семейного поведения и устойчивостью патриархатной культуры, традиционных представлений об этом поведении (Мещеркина 2002: 16; Попова 2009: 183; Российская повседневность в условиях кризиса 2009: 79).

Неоднозначность происходящих в этой сфере изменений и устойчивость традиционных норм и ценностей в семейных и гендерных отношениях характерна не только для России. В сравнительном исследовании нормативных взглядов россиян и европейцев на семейные ценности делаются выводы о заметной внутристрановой неоднородности этих взглядов, а также о том, что в каждой стране процессы демографической модернизации развиваются постепенно, неравномерно охватывая разные сегменты общества (Фабрикант,

Магун 2014)². Противоречивость тенденций, определяющих динамику демографической модернизации, характеризует и точка зрения, что тенденции развития европейской семьи самого последнего времени заставляют усомниться в том, что в России, как и в других развитых странах, место старой семьи заступает новая, достаточно стабильная нуклеарная малодетная семья городского типа, сильно отличающаяся от патриархальной. (Демографическая модернизация 2006: 85). И, наконец, симптоматичным и значимым свидетельством неоднозначности происходящих в этой сфере изменений является описание двух разных сценариев второго демографического перехода, который датируется концом 1960-х гг. в западноевропейских странах и серединой 1990-х гг. в странах Восточной Европы и России. В первом сценарии эти изменения связываются с ростом благосостояния населения, распространением ценностей индивидуализма и повышением значимости личностной самореализации, а источником распространения этих ценностей называются наиболее образованные и наиболее обеспеченные представители общества. По другому сценарию распространение инновационных норм поведения в этой сфере связывается с трансформацией в начале 1990-х гг. экономической модели, а носителями этих норм (таких как совместное проживание и рождение детей вне брака, высокая нестабильность партнерства и т. д.) называются представители менее образованных и менее обеспеченных слоев населения. И здесь фиксируется парадокс, когда эти слои населения, как правило, продолжают разделять традиционные ценности (Попова 2009: 168).

Данные и методы

Таким образом, результаты целого ряда исследований свидетельствуют о нелинейном характере глобального процесса демографической модернизации и проблематизируют неоднозначность и противоречивость этого процесса в разных его проявлениях. В рамках этой статьи предпринята попытка в какой-то мере дополнить характеристики этой проблемы, проанализировав изменения в семейных и гендерных отношениях на материале автобиографических нарративов из собрания Биографического фонда Социологического

² Отметим также, что по результатам этого исследования на европейском фоне Россия — страна со средне-высоким уровнем традиционности нормативных взглядов на семейные ценности, хотя степень традиционности неодинакова для различных норм, регулирующих эту сферу.

института РАН — филиала ФНИСЦ РАН³. В исследовании использовался поколенческий подход, который дает возможности анализировать происходящие в ценностном сознании общества изменения через призму внутри- и межпоколенческой дифференциации. Из материалов Фонда в типологическую выборку вошли автобиографические нарративы женщин двух поколенческих когорт⁴ — старшей когорты, формативный период жизни которой приходится на советское время, и более молодой когорты, формативный период жизни которой приходится на время реформ при переходе к рыночной экономике. Предполагалось, что нарративы женщин этих когорт в определенной мере репрезентируют представления о семейных и гендерных отношениях двух разных эпох в жизни российского общества и позволят увидеть, как меняются эти представления в постсоветское время в контексте противоречивых тенденций глобального процесса демографической модернизации. Единичей анализа представлений о семейных и гендерных отношениях были оценочные суждения, которыми женщин этих когорт описывали опыт семейной жизни и опыт гендерных отношений в целом⁵. Семантическое поле этих суждений интерпретировалось по двум типам характеристик. Анализировались как описываемые в нарративах сюжеты и практики (замужество, рождение детей, конфликты, разводы, включая отношения в родительской семье и с родительской семьей), так и соответствующие этим сюжетам и практикам лексические образцы повседневного языка, лексическая символика нарративов, которую использовали авторы нарративов, мотивируя свои решения и практики в этой сфере⁶.

³ Биографический фонд был создан в Социологическом Институте РАН в 1989 г. (сейчас Социологический институт — филиал Федерального научно-исследовательского центра РАН). В число материалов Фонда входят автобиографии, биографические интервью, генеалогии, дневники, а также материалы нескольких тематических биографических конкурсов. Сегодня собрание Фонда насчитывает более 800 единиц хранения и постоянно пополняется.

⁴ Для концептуального обоснования отбора автобиографических нарративов женщин этих поколенческих когорт использовались понятия «эффект времени» и «формативный период», разработанные в социологии поколений (Семенова 2009: 17–24).

⁵ Надо подчеркнуть, что и представления о семейных отношениях, и опыт семейной жизни сегодня имеют разные формы и не всегда означают наличие собственной (традиционной) семьи автора нарратива, как в прошлом, так и на момент его написания. В этой связи в исследовании использовалось более емкое понятие — представления о семейных и гендерных отношениях.

⁶ В типологическую выборку было включено по 20 нарративов каждой поколенческой когорты. Все эти нарративы хранятся в Биографическом фонде и написаны в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

Традиционные ценности в метафорах и реалиях жизни женщин старшей когорты

Устойчивость традиционных ценностей и традиционных взглядов на семейные и гендерные отношения отмечается не только в исследовании этой сферы, но и в исследованиях социокультурной модернизации российского общества в целом. При этом подчеркивается, что, несмотря на воздействие идущих в стране за годы реформ преобразований, эти ценности со временем восстанавливают свое влияние на общество (Горшков 2009: 17). Рассмотрим, как эта проблема представлена в автобиографических нарративах женщин старшей когорты, социализация которых пришлась на советское время.

Лексическая символика нарративов считается значимой характеристикой для распознавания коллективных образов и представлений о том или ином явлении жизни общества, а также для определения самоидентификации поколения (Семенова 2009: 136). Вот какие лексические стереотипы и метафоры характеризуют традиционность взглядов женщин на семейные и гендерные отношения: *«любовь с первого взгляда», «жить ради любви», «найти свою судьбу», «связать свою «судьбу», «судьба и на печке найдет», «засидеться в девках», «впитать с молоком матери», «жить по маминой указке», «наговоры свекрови», «жена своего мужа», «быть за мужем как за каменной стеной», «начать совместную жизнь с чайной ложки», «создать семью», «жить для семьи», «спасти семью», «жить душа в душу», «безотцовщина», «куда нитка, туда и иголка», «сели на шею родителям», «родители мечтали, чтобы их дети выбились в люди».*

Интерпретируя эти метафоры, прежде всего, надо отметить, что они довольно точно отражают основные темы, которые женщины включают в свои автобиографические нарративы, рассказывая об опыте семейной жизни и гендерных отношений. Эти темы: *романтическая любовь, судьба, влияние матери (или свекрови) на семейную жизнь дочери (или невестки), принципы воспитания детей и отношения с родителями и прародителями.* В свою очередь, все эти темы в той или иной степени характеризуют не только представления женщин о семейных и гендерных отношениях, но и породившие эти представления культурные образцы и практики на разных этапах жизненного пути женщины.

Очевидно, что большую часть этих метафор можно отнести к традиционным, «патриархатно» открашенным, представлениям о семейных и гендерных отношениях, и они характеризуют, в основ-

ном, нарративы женщин старшей возрастной когорты. Однако, если внимательно проанализировать контекст этих метафор, конкретные семейные ситуации и практики, которые женщины описывают в своих нарративах, то традиционно-патриархатная окрашенность их взглядов не кажется столь очевидной. Эти ситуации и практики говорят о том, что женщины этой когорты, наряду с профессиональной и, в ряде случаев, общественной деятельностью, играют определяющую роль в организации семейной жизни, а также в организации жизни детей (причем, даже взрослых детей) и что, в целом, мужского доминирования в качестве главы семьи нет. Традиционные же представления о предназначении женщины они обнаруживают тогда, когда ради сохранения семьи жертвуют личными интересами, терпя, например, авторитарный характер мужа или борясь с его алкоголизмом: *«Вообще я была довольно деятельная и активная. Все вроде бы было хорошо, но тут пришла беда — муж начал пить. Мои уговоры, просьбы, скандалы ни к чему не приводили, сказалося и то, что отец у него был алкоголиком (о чем раньше я не знала). Билась я за него как могла. Не один раз решала развестись, да вставал вопрос, куда деваться мне с ребенком — к родителям не могла, и у них уже сестра моя с ребенком и без мужа жила, в тот период погиб старший брат, и если бы я еще появилась со своей бедой, это бы окончательно сразило бы моих родителей. Не знаю, почему я его не бросила, любви к нему никакой уже и не было, оставалось чувство долга и ответственности за человека, с которым связала меня судьба»* (51 год, главный инженер).

Это противоречивое сочетание традиционно-патриархатных представлений о предназначении женщины как хранительницы очага и активно-достижительных практик профессиональной и семейной жизни во многом объясняется двойственным положением женщины в советском обществе, в котором проходила большая часть жизни женщин старшей когорты. Известно, что советское законодательство провозгласило равенство женщин, включив их в профессиональную деятельность и освободив от экономической зависимости. Тем не менее в бытовой сфере была сохранена патриархатная модель жизни, которая предполагала сочетание полной занятости женщины с ролями матери и домохозяйки. И женщины принимают эту «тройную нагрузку», как свидетельствуют их нарративы, как *естественный* порядок вещей: *«В настоящее время я уже пенсионерка. Единственная дочь к моему уходу на пенсию подарила мне внучку. В основном мне приходится заниматься воспитанием внучки, и я совмещаю все*

обязанности женщины (магазины, очереди, приготовление пищи, уборки, стирки и пр.)» (60 лет)⁷. Возможно также, что в устойчивости такого рода представлений и практик определенную роль играют и исторически сложившиеся «матриархатные» тенденции в организации семейной жизни, которые лежат в основах крестьянской семьи XIX века (Голофаст 2004: 105–106) и которые сохраняются в силу того, что демографическая модернизация, как и другие стороны советской модернизации, считается «консервативной» (Вишневецкий 1998: 7)⁸.

Еще одним объяснением противоречий между традиционно-патриархатными представлениями о предназначении женщины и практиками семейной жизни может быть довольно характерная для советского времени *неполная* семья. Описываемые в литературе формы неполной семьи, когда мужа отсутствуют по причине смерти или развода (Голод 2010: 112), нарративы женщин этой когорты позволяют дополнить еще одной формой. Как правило, в их нарративах мужа присутствуют при описании семейной жизни лишь формально, но фактически отсутствуют, так как не принимают участия в организации семейной жизни и воспитании детей, часто из-за алкоголизма: «В 1992 году пришлось уволиться по собственному желанию из-за задержки зарплаты. Нужны были деньги, ведь на иждивении у меня трое детей. На мужа надежды не было, очень пил и в 1994 умер» (50 лет). Подтверждением незначительного участия мужчин в организации семейной жизни является и то, что в нарративах женщин старшей когорты мужчины появляются либо на ранних этапах семейной жизни (при заключении брака, романтической любви и т. п.), либо при неудачно сложившейся семейной жизни, когда речь идет о разводе с мужем, смерти мужа или алкоголизме мужа. Но мужчины почти не упоминаются как партнеры в организации семейной жизни и принятии семейных решений. И среди *структурных каналов* семейных отношений: «муж-жена», «родители-дети», «супруги-родственники», «дети-прародители»⁹ —

⁷ Отметим также, что представления об *естественности* такого порядка вещей высказывают женщины этой когорты вне зависимости от их социального положения и образования.

⁸ Тем не менее, надо отметить, что в исследовании Пекки Рууса, который изучал автобиографические нарративы послевоенного поколения финнов (тех, кто родился после 1940 г. и получил высшее образование) описываются устойчивые традиционно-патриархатные представления о семейных отношениях, когда функции по принятию семейных решений и воспитанию детей находятся у отцов. См.: (Пекка Руус 1993).

⁹ С. И. Голод рассматривает эти каналы как всестороннюю деятельную палитру для раскрытия возможностей современного типа семьи, названного им супружеским типом семьи, которая основана на личном взаимодействии мужа и жены (Голод 2008: 45).

самым редким оказывается описание отношений «муж-жена». Можно предположить, что «исключение» женщинами этой когорты мужчин как партнеров по организации семейной жизни оказывается до некоторой степени результатом их собственной активности, восприятия ими «тройной нагрузки» как нормы, как *естественного* порядка вещей и даже предмета гордости¹⁰. Тем более что эта норма в какой-то мере обусловила их независимость в семейных и гендерных отношениях. Кроме того, отсутствие в нарративах женщин этой когорты традиционного мужского доминирования в качестве главы семьи можно интерпретировать и как кризис культурного образца — кризис гегемонической маскулинности (Мещеркина 2002: 15–16).

На фоне этой малозаметной роли мужчин в нарративах женщин старшей когорты контрастно представлена ценность материнства и отношения к детям. Описанию практик воспитания детей и своего рода служения им они уделяют большое внимание: *«С мужем мы несколько раз сходились, расходились, я сделала много попыток сохранить семью, но ничего не получилось. Я решила посвятить всю жизнь дочери, она для меня стала единственной радостью и надеждой. Я уделяла дочери все свободное от работы время. По выходным мы всегда ездили за город или на каток в наш ледовый заводской дворец. По возможности занимались спортом»* (52 года). Кроме того, для женщин этой когорты наличие в семье детей часто оказывается обязательным и необходимым условием ее сохранения, а также удержания в семье мужа. Причем, даже в тех случаях, когда приходится прибегать к обману: *«Мне было уже 23,5 лет. И я решила оставить ребенка, так как это счастливый случай спасти семью. В противном случае — наоборот — остаться без мужа, но с ребенком. В то время еще считалось, что рожать без мужа не очень приятно, какой-то стыд. Своему мужу я сказала, что ребенок от него»* (45 лет).

Но даже в тех случаях, когда детей в семье нет, эта тема, так или иначе, затрагивается в нарративах женщин старшей когорты. И среди уже упомянутых *структурных каналов* семейных отношений («муж-жена», «родители-дети», «супруги-родственники», «дети-прародители») наиболее распространенным каналом оказывается описание отношений «родители-дети». Таким образом, наличие детей в семье выглядит в нарративах женщин этой когорты центральным

¹⁰ Исследование С. Ашвин подтверждает, что советские женщины воспринимали необходимость сочетать работу и семью как естественную норму и даже гордились своей способностью все «успевать» и «крутиться» (Ашвин 2000: 65).

образующим семью фактором, свидетельствуя о распространенности *детоцентристского* типа семьи и, что важно, соответствующих этому типу семьи традиционных представлениях и традиционных ценностях (Голод 2003:118). В тоже время «детоцентризм» женщин этой когорты во многом объясняется как распространенностью форм неполной семьи, так и отсутствием партнерских отношений в полных семьях, отстраненностью мужчин от процесса воспитания детей.

И, наконец, надо отметить, что многие характеристики представлений женщин старшей когорты о семейных и гендерных отношениях объясняются, на наш взгляд, своего рода идеологической нагруженностью этих представлений, унаследованной от общего стиля советской эпохи — множества табу на проявление гендерной самоидентификации женщин. По всей видимости, именно поэтому в нарративах женщин этой когорты личностные проявления и гендерная самоидентификация часто выстраиваются в рамках традиционно-патриархатных отношений и проявляются как жертвенность ради сохранения семьи и ориентация на *детоцентристский* тип семьи при отсутствии партнерских отношений в семьях. Причем, это выглядит привычной для женщин этой поколенческой когорты нормой и не вызывает с их стороны протеста, даже когда им приходится серьезно поступаться личными интересами.

Что меняется и что наследуется молодыми женщинами в семейных и гендерных отношениях

Рассмотрим теперь, в каких характеристиках можно увидеть изменения в представлениях о семейных и гендерных отношениях в автобиографических нарративах женщин более молодой возрастной когорты, формативный период жизни которой приходится на время радикальных реформ при переходе к рыночной экономике. Какие представления и практики своих матерей они наследуют и в каком направлении меняются эти представления и практики.

Нарративах молодых женщин свидетельствуют, что они отчасти наследуют «матриархатные» тенденции и практики доминирования своих матерей в организации семейной жизни. Однако если в нарративах женщин старшей когорты эти практики окрашены готовностью всеми силами сохранять семью и даже жертвовать личными интересами (например, борясь с алкоголизмом мужей), то в нарративах молодых женщин эти практики больше похожи на сохранение дистанции

в отношениях с мужчинами и даже манипулирование ими: *«Он был некрасивый, в очках. От нечего делать стали встречаться... Постепенно он стал раскрывать передо мной как человек. Добрый, заботливый, им можно было покомандовать»* (23 года).

В нарративах молодых женщин (как правило, очень молодых) часто встречаются ссылки на традиционный характер влияния их матерей при принятии молодой женщиной решения о замужестве или рождении детей: *«Я жила по маминой указке, узнав, что будет ребенок, я, прежде всего, подумала, что скажет мама»* (22 года). В этой связи надо отметить, что в нарративах женщин обеих возрастных когорт часто описывается влияние свекрови (матери мужа) на семейную жизнь сына. Причем, об этом влиянии в большей степени говорят нарративы молодых женщин, что до некоторой степени также свидетельствует об усилении доминирующей роли матерей в организации жизни детей и об «отсутствующих» (как уже говорилось, по разным причинам) отцах и, как следствие, своеобразной психологической зависимости сыновей от матерей: *«Вчера мы купили машину, конечно, это хорошо, но я знаю, что мужа своего я теперь вообще видеть не буду, так как два дня он работает, а два дня отдыха он теперь будет проводить с машиной. А наступит весна, его мама скажет «вези нас на дачу, а через неделю заberi», так и будет им командовать, хотя он и сейчас во всем ее слушается, а мне это не нравится, но я понимаю, мама есть мама»* (22 года).

Что касается описываемых в нарративах мотивов замужества, которые являются одной из значимых характеристик нормативных представлений о семейных и гендерных отношениях, то женщины обеих когорт таким мотивом называют любовь. Наиболее ярко свои ориентиры на романтическую любовь как основу брака описывают молодые женщины: *«Я жила для любви и ради любви. Я всегда считала, что истинным тылом для человека является семья. И до сих пор (стыдно признаться) верю в эту скучную фразу: “не в деньгах счастье” и даже про “рай в шалаше”»* (27 лет). Однако романтические ориентиры на любовь как основу брака в ряде случаев не мешают молодым женщинам выходить замуж без любви (иногда даже сохраняя при этом любовь к другому мужчине). И в целом эти ориентиры предстают в нарративах молодых женщин скорее как культурный образец, тогда как описываемые ими практики, например, решения о замужестве, выглядят вполне прагматично: *«Я не собиралась связывать свою судьбу с этим человеком, но кто-то свыше распорядился иначе. Я забеременела, но узнала об этом лишь два месяца спустя.*

Так уж подвела меня природа. Делать аборт я побоялась, так как первая беременность. Володя (так зовут моего избранника) не был против ребенка. Пришлось пожениться. Все кругом осуждали. Лучшие не могла найти?» (23 года).

Отметим также, что это противоречивое сочетание представлений о любви как нормы при заключении брака и практик реального поведения свойственно и женщинам старшей когорты. Однако причины отказа от ориентиров на любовь в браке у них несколько иные, чем у молодых женщин. В их нарративах основной причиной отказа от этих ориентиров оказывается боязнь не соответствовать традиционной норме замужества — вовремя не выйти замуж, «засидеться в девках». При этом возраст в двадцать с небольшим лет они называют уже критическим: *«После техникума работала на заводе. Девчонки-подружки одна за другой выходят замуж, и я вдруг поняла, что мне уже не за горами 20 стукнет, а я еще ни разу с мальчишкой в кино не сходила, ни разу на свидание не сбегала — мне стало страшно. Я согласилась стать Сашиной женой» (55 лет).*

В нарративах молодых женщин достаточно очевидно произошедшее изменение в норме возраста для замужества женщины, так что ссылки на критический возраст как необходимость выйти замуж уже не встречаются. Свои решения выйти замуж без любви они объясняют другими причинами — непредвиденными обстоятельствами (например, беременностью), или страхом одиночества, или давлением родителей: *«Первый раз замуж вышла без любви. Из страха одиночества. Второй — собственно из-за того же страха. Я ничего не испытывала к своему мужу. Разве что чувство благодарности за то, что не оставил меня тогда в трудную минуту. Но он мне был как друг. А я-то искала любовь. Искала и не находила» (30 лет).*

Нарративы свидетельствуют также, что молодые женщины не только менее чувствительны к традиционным нормам замужества, но и демонстрируют большую, чем женщины старшей когорты, свободу и независимость в выборе партнеров для брака. Кроме того, они более откровенны в своих описаниях любовных отношений и не стесняются говорить как о своих материальных интересах, так и об интимных переживаниях: *«Потом мы стали любовниками. Любила ли я его — не знаю. Он открыл для меня прелесть секса. Но мы должны были расстаться. Он сказал, что дома (на Украине) родители его женят. После него у меня были мужчины. Я пыталась любить по расчету. Меня могли содержать, платить деньги, но мне это было противно» (23 года).*

Наряду с этими явными изменениями в нормах приватности/публичности. нарративы молодых женщин подтверждают также, что наряду с официальным браком появляются разные формы сожителства и что родительство, супружество, любовные отношения и семья все больше отделяются друг от друга и становятся отдельными институтами (Захаров 2005:130): *«Я решила рожать. Но рожать нужно было с умом. Я попросила у отца будущего ребенка разрешения. Мы были друг другу никто в смысле законно. Отягощать жизнь я никому не хотела. Но и оставаться без поддержки одна тоже не хотела. Мое к нему обращение за разрешением тогда было зовом о помощи, сейчас воспринимаю это как фарс. На работу вышла через год после рождения дочери и перестала нуждаться (как в спонсоре и как в мужчине) в ее отце, который часто жаловался, что ему трудно материально. Оплачиваю свои счета сама»* (25 лет). Кроме того, в нарративах молодых женщин их практики в семейных и гендерных отношениях выглядят более независимыми и прагматичными чем практики женщин старшей когорты: *«Моя близкая подруга тоже разошлась с мужем, тоже примерно такая картина семейной жизни, как и у меня. Она шьет, вяжет, стрижет, делает цветы декоративные, работает надомницей по чертежам. В общем, молодец! Живет с сыном 9-летним в общежитии семейного типа. Если у нее были мужчины, она находила им всем применение: ремонт окна, утюга, магнитофона и т. д. С пустыми руками не приходили. Она понимала, найти хорошего мужа очень сложно, а любовника поить и кормить — глупо. Поэтому придерживалась, чтобы мужчина хоть чем-то был полезен»* (29 лет).

Разумеется, такого рода проявления независимости и прагматичности в семейных и гендерных отношениях можно обнаружить и в нарративах женщин старшей когорты. Однако в их нарративах откровенные заявления о материальных интересах, как правило, не встречаются, что, по всей видимости, объясняется, как уже говорилось, устойчивостью в их мировосприятии идеологически нагруженных норм советского ценностного порядка, который табуировал демонстрацию таких практик и представлений. Таким образом, можно предположить, что откровенные заявления молодых женщин об их независимости и прагматичности в семейных и гендерных отношениях свидетельствуют не только об усилении такого рода ориентаций, но и об изменении ценностного порядка в постсоветском обществе, легализовавшем эти ориентации и, так или иначе, расширившем пространство частной жизни человека.

Заключение

Рассмотрим, как можно интерпретировать изменения, которые были выявлены в автобиографических нарративах женщин этих двух поколенческих когорт, в контексте неоднозначных тенденций глобального процесса демографической модернизации. И, прежде всего, в контексте одной из определяющих тенденций демографической модернизации — усиливающейся индивидуализации частной жизни современного человека.

Уже в советское время в монографии «Семья в крупном городе», основанной на межкультурных исследованиях конца 1970-ых — начала 1980-х гг., усиливающаяся индивидуализация частной жизни современного человека рассматривалась в качестве определяющей характеристики изменений в сфере семьи и брака. Одним из важных выводов этого исследования было и то, что ценности семьи, брака, детей, дома лишь переопределяются в нормативном сознании, но не отменяются, а оказываются в новых соотношениях с ценностями труда, благосостояния, общественной активности, индивидуального развития (Голофаст 2004: 211). Если с этих позиций посмотреть на результаты анализа автобиографических нарративов женщин старшей когорты, то принципиально новые соотношения между упомянутыми ценностями в постсоветское время не кажутся очевидными. Скорее можно подтвердить прежние соотношения, характерные для советского времени, которые были проанализированы как в этой монографии, так и в исследованиях постсоветского времени. Это, прежде всего, устойчивость традиционных взглядов на семейные и гендерные отношения, а также противоречивое сочетание этих взглядов с эгалитарными установками советской модернизации на независимость и личностное развитие женщины.

Результаты анализа автобиографических нарративов женщин более молодой когорты, жизнь которой складывалась в постсоветское время, уже дают основания для характеристики новых соотношений семейных ценностей и произошедших изменений в семейных и гендерных отношениях. Наиболее значимые изменения это усиление прагматических ориентаций и независимости поведения женщин в этих отношениях. Можно ли характеризовать эти изменения как тенденцию индивидуализации частной жизни современного человека, или же речь идет об адаптивной реакции женщин этой когорты, формативный период жизни которых пришелся на время размытости нормативов

и легализации такого рода ориентаций в результате радикальных системных трансформаций постсоветского времени.

Если согласиться, что российская семья уже встроена в процесс демографической модернизации, то в качестве ответа на этот вопрос можно привести высказывание одного из ведущих социальных исследователей Зигмунда Баумана, который полагал, что в современном, «индивидуализированном», обществе каждый человек вынужден индивидуализироваться и быть прагматичным, что *это не его выбор, а судьба, структурное принуждение* (Бауман 2002: 66). В тоже время ответом на этот вопрос может быть и точка зрения британского демографа Д. Колмана, которая представлена в обзоре развития института семьи в постиндустриальных обществах. Он отмечает, что второй демографический переход происходит только в ряде европейских стран. А схожие тенденции могут быть обусловлены другими причинами, например, в странах Восточной Европы и России. И совсем не обязательно, что эти страны «повторят ту же европейскую траекторию» (Гурко 2011: 40).

Источники

Ашвин С. Влияние советского гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости // Социологические исследования. 2000. № 11. С. 63–72.

Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.

Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998.

Голод С. И. Перспективы моногамной семьи: сравнительный межкультурный анализ // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003, № 2, С. 106–119

Голод С. И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 40–49.

Голод С. И. Современные немногамные модели семьи // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 111–126.

Голофаст В. Б. Ветер перемен в социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Том III. № 4. С. 122–139.

Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет. — СПб.: Алетейя, 2004.

Готлиб А. Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп. 2004.

Горшков М. Г. Российское общество в социологическом измерении // Мир России. 2009. № 2. С. 3–21.

Гурко Т. А. Институт семьи в постиндустриальных обществах // Ценности и смыслы. 2011. № 4 (13). С. 26–44.

Демографическая модернизация России. 1990–2000 / Под ред. А. Г. Вишневого. М.: Новое издательство, 2006.

Елисеева И. И., Клецин А. А. Городская семья: современные тенденции // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов Социологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 127–146.

Захаров С. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход // Отечественные записки. 2005. № 3 (23). С. 124–140.

Козлова Н. Н. Методология анализа «человеческих документов» // Социологические исследования. 2004. № 1. С. 14–26.

Мещеркина Е. Ю. Социологическая концептуализация маскулинности // Социологические исследования. 2002. № 11. С. 15–25.

Пекка Руус. От фермы к офису: семья, уверенность в себе и новый средний класс // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С. 139–151.

Попова Д. О. Трансформация семейных ценностей и второй демографический переход в России: кто в авангарде? // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / Под ред. С. В. Захарова, Т. М. Малевой, О. В. Синявской. — М.: НИСП, 2009. С. 163–184.

Российская повседневность в условиях кризиса / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. М.: Альфа, 2009.

Пузанова Ж. В., Троцук И. В. Нарративный анализ: понятие или метафора // Социология: 4. М., 2003. № 17. С. 56–82.

Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998.

Семенова В. В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М., РОССПЭН. 2009.

Троцук И. В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. М.: Изд-во РУДН, 2006.

Фабрикант М., Магун В. Семейные ценности россиян и европейцев. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/2014/0613/tema01.php> (дата обращения: 28.09.2018).

Ярская-Смирнова Е. Р. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. № 3. С. 38–61.

References

Ashvin S. Vliyaniye sovetskogo gendernogo poriyadka na sovremennoye povedeniye v sfere zanyatosti // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2000. № 11. S. 63–72.

- Bauman Z.* Individualizirovannoe obshestvo. M.: Logos, 2002.
- Vishnevskij A. G.* Serp i rubl: Konservativnaya modernizatsiya v SSSR. M.: OGI, 1998.
- Golod S. I.* Perspektivy monogamnoj semi: sravnitelnyj mezhhkulturnyj analiz // Zhurnal sotsiologii i sotsialnoj antropologii. 2003. № 2, S. 106–119.
- Golod S. I.* Sociologo-demograficheskij analiz sostoyaniya i evolyucii semi // Sociologicheskie issledovaniya. 2008. № 2. S. 40–49.
- Golod S. I.* Sovremennye nemonogamnye modeli semi // Peterburgskaya sotsiologiya segodnya. Sbornik nauchnyh trudov Sotsiologicheskogo instituta RAN. SPb.: Nestor-Istoriya, 2010. S. 111–126.
- Golofast V. B.* Veter peremen v sotsiologii // Zhurnal sotsiologii i sotsialnoj antropologii. 2000. Tom Sh. № 4. S. 122–139.
- Golofast V. B.* Sotsiologiya semi. Stati raznyh let. — SPb.: Aletejya, 2004.
- Gotlib A.* Kachestvennoe sotsiologicheskoe issledovanie: poznavatelnye i ekzistencialnye gorizonty. Samara: Univers-grupp. 2004.
- Gorshkov M. G.* Rossijskoe obshestvo v sotsiologicheskom izmerenii // Mir Rossii. 2009. № 2. C. 3–21.
- Gurko T. A.* Institut semi v postindustrialnyh obshestvah // Cennosti i smysly. 2011. № 4 (13). S. 26–44.
- Demograficheskaya modernizatsiya Rossii. 1990–2000 / Pod red. A. G. Vishnevskogo. M.: Novoe izdatelstvo, 2006.
- Eliseeva I. I., Kletsin A. A.* Gorodskaya semya: sovremennye tendencii // Peterburgskaya sotsiologiya segodnya. Sbornik nauchnyh trudov Sotsiologicheskogo instituta RAN. SPb.: Nestor-Istoriya, 2010. S. 127–146.
- Zaharov S.* Perspektivy rozhdanosti v Rossii: vtoroj demograficheskij perehod // Otechestvennye zapiski. 2005. № 3 (23). S. 124–140.
- Kozlova H. H.* Metodologiya analiza «chelovecheskih dokumentov» // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2004. No 1. S. 14–26.
- Mesherkina E. Yu.* Sotsiologicheskaya konceptualizatsiya maskulinnosti // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2002. № 11. S. 15–25.
- Nechaeva N. A.* Gendernye idealy molodezhi (1999–2014 gg.) // Peterburgskaya sotsiologiya segodnya. Sbornik nauchnyh trudov. SPb.: Nestor-Istoriya, 2017. S. 160–178.
- Pekka Ruus.* Ot fermy k ofisu: semya, uverenost v sebe i novyj srednij klass // Voprosy sotsiologii. 1993. № 1/2. S. 139–151.
- Popova D. O.* Transformatsiya semejnyh cennostej i vtoroj demograficheskij perehod v Rossii: kto v avangarde? // Roditeli i deti, muzhchiny i zhenshiny v seme i obshestve / Pod red. S. V. Zaharova, T. M. Malevoj, O. V. Sinyavskoj. — M.: NISP, 2009. S. 163–184.
- Rossijskaya povsednevnost v usloviyah krizisa / pod red. M. K. Gorshkova, R. Krumma, N. E. Tihonovoj. M.: Alfa, 2009.

Puzanova Zh. V., Trotsuk I. V. Narrativnyj analiz: ponyatie ili metafora // Sotsiologiya: 4 M. 2003. № 17. S. 56–82.

Semenova V. V. Kachestvennye metody: vvedenie v gumanisticheskuyu sotsiologiyu. M.: Dobrosvet, 1998.

Semenova V. V. Sotsialnaya dinamika pokolenij: problema i realnost. M., ROSSPEN, 2009.

Trotsuk I. V. Teoriya i praktika narrativnogo analiza v sotsiologii. M.: Izd-vo RUDN, 2006.

Fabrikant M., Magun V. Semejnye tsennosti rossiyan i evropejtssev. [Elektronnyj resurs] Rezhim dostupa: <http://demoscope.ru/weekly/2014/0613/tema01.php>

Yarskaya-Smirnova E. R. Narrativnyj analiz v sotsiologii // Sotsiologicheskij zhurnal. 1997. № 3. S. 38–61.

И. И. ЕЛИСЕВА

РОЖДЕНИЯ И НЕРОЖДЕНИЯ

Анализируется возможность роста рождаемости в России в среднесрочной перспективе в условиях сокращения численности женщин фертильного возраста. С этих позиций аборт рассматриваются как потенциальный ресурс увеличения числа рождений. Правомерность такой позиции подтверждается историческими данными изучения абортов в России. Приводятся результаты количественного анализа распространенности абортов в субъектах РФ и их взаимосвязи с другими факторами, в частности, с нестабильностью браков. Делается вывод о возможности нивелирования абортного поведения определенных групп женщин. В качестве условия разработки целевых программ предотвращения абортов выдвигается наличие полной и достоверной статистики абортов, которая в настоящее время имеется в базе данных учреждений здравоохранения, но не предоставляется в органы государственной статистики и не доступна исследователям.

Ключевые слова: брак, численность родившихся, возрастные коэффициенты рождаемости, мертворождение, младенческая смертность, репродуктивное поведение, аборт.

Введение

Рождаемость привлекает внимание исследователей как процесс, от которого непосредственно зависит характер воспроизводства населения — суженное, расширенное, простое. Для России с ее огромной неравномерно заселенной территорией и колоссальных различиях между регионами во всех демографических показателях рождаемость рассматривается как некая ключевая проблема, решение которой позволит устранить, либо смягчить сопутствующие проблемы — обеспечить сбалансированность рынка труда, активизировать внутренний спрос, способствовать укоренению населения, насыщению рынка доступного жилья при активизации взаимодействия финансового и нефинансового секторов экономики и т. д. Подтверждением этого может служить проводимая в нашей стране в последнее десятилетие протоналистическая политика, включающая как федеральные, так и региональные меры стимулирования рождаемости. Благодаря этим мерам, а также динамике роста рождаемости, компенсирующей провал

трансформационного периода, 1992–1999 гг., в России наблюдался устойчивый рост рождаемости, проявившийся в динамике численности родившихся в расчете на 1000 человек населения, с 8,7 промилле в 2000 г. до 13,3 промилле в 2014 г. В 2015 г. уровень рождаемости стабилизировался на отметке предыдущего года, 2014 г., а с 2016 г. начал снижаться и составил 12,9 промилле¹. Такой поворот придает особую остроту и актуальность исследованию рождаемости. Россия вновь стоит на пороге длительного периода депопуляции, которую вряд ли сможет перекрыть приток внешних мигрантов.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы обратить внимание на особенности рождаемости в современной России, на взаимосвязь рождаемости и абортного поведения, а также на возможности снижения использования абортов.

Состояние и перспективы

Если, следуя С. В. Захарову (Захаров 2017: 9), рассмотреть долгосрочную динамику рождаемости с ретроспективных позиций, то становится понятно: истоки снижения рождаемости следует искать в последней четверти XIX в., в период бурного развития промышленности, железных дорог, выхода России на мировой рынок, потребовавших наличия рабочих — массовой миграции из сел в города. В то же время активизировалось и такое явление как отхожие промыслы (Миронов 1999). Все это вместе взятое не способствовало росту числа детей. Участие России в Первой мировой войне, а также последующая Гражданская война унесли жизни свыше 11 млн человек, преимущественно мужчин. А. Блюм делает вывод, что первым мирным годом для России с позиций демографии, после длительного периода потрясений, можно считать 1923 г., когда эпидемии стихли и демографическое воспроизводство нормализовалось. (Blum 2018). Но эта нормализация была весьма относительна. Сформировалась диспропорция полов — так называемый «женский перевес», который сохраняется до сего времени (по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. на 100 мужчин приходилось женщин). Нарушение пропорций между полами захватило в том числе возрастные группам потенциально брачащихся и этот потенциал не мог быть реализован всеми женщинами.. На демографические процессы не могло не сказаться влияние

¹ Демографический ежегодник России. 2017. — М.: Росстат, 2017.

либерального законодательства о семье и браке установленного вначале в форме Декрета 18 декабря 1917 г «О гражданском браке, детях и о введении книг актов гражданского состояния» (через месяц после провозглашения Советской власти!), а затем в форме «Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» от 22 октября 1918 г. Эти законодательные акты были приняты на волне революционных настроений. В противовес «буржуазной семье» с ее гендерным неравенством, зависимостью жены от мужа, брак провозглашался как свободный союз равных индивидуумов, объявлялась секуляризация брака, равенство прав мужчин и женщин, была принята облегченная процедура развода, признавались равные права детей, рожденных в браке и вне брака. Возраст вступления в брак сохранялся — 18 лет для мужчин и 16 лет — для женщин. К этим революционным изменениям в сфере семьи и брака добавилась легализация абортов: в 1920 г. РСФСР оказалась первой страной мира, признавшей право женщины на аборт. Аборты производились легально и бесплатно в медицинских учреждениях. В результате доля женатых мужчин существенно превосходила долю замужних женщин, вследствие повторных браков и легкости разводов. Прежде весьма редкие семьи без брачной пары (*single-parent family*) с несовершеннолетними детьми, стали широко распространенным типом семьи. Соответственно, воспитание детей только матерью, без участия отца стало нормой. Феномен воздействия законодательных актов на семью, брак и рождаемость в советский период детально изучен зарубежными исследователями (Brainerd 2018; Clements at all 2012 и др.)

Для цели данной статьи важно лишь упоминание о периоде революции и начала социалистического строительства, внесшего эрозию в семейно-брачные отношения, в положение женщины — дуализм ее жизнедеятельности и обязательств, и в отношении к детям — желанных и, вместе с тем, вынужденно брошенных матерью в детские учреждения, а в подростковом возрасте — «на улицу».

Чтобы подчеркнуть особенности рождаемости в современной России, обратимся к данным государственной статистики. Численность родившихся за год зависит от численности женщин фертильного возраста (15–49 лет) и уровня рождаемости в каждой возрастной группе женщин. Рассмотрим данные о возрастных коэффициентах рождаемости в 2000 г. и в 2014 г. — в годы начала и завершения периода устойчивого роста рождаемости, а также данные за 2016 г., показавшие перелом этой тенденции (табл. 1).

Таблица 1

Возрастные коэффициенты рождаемости, РФ

Год	Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет					
	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44
2000	27,4	93,6	67,3	35,2	11,8	2,4
2014	26,0	89,8	110,2	79,8	39,0	8,1
2016	21,5	87,2	111,5	84,4	41,0	8,8

Источник: Демографический ежегодник России. 2017. Стат. сборник. — М., 2017. С. 64.

Четко прослеживается тенденция перехода лидерства в рождаемости от группы женщин в возрасте 20–24 года к группе 25–29 лет. Интенсивность рождаемости в возрастных группах, прилежащих к доминантной группе, сближается: если в 2000 г. рождаемость в возрасте 20–24 года была в 2,65 раза выше, чем в возрасте 30–34 года, то в 2014 г. рождаемость в этих возрастных группах отличалась всего лишь на 12%. Структурный сдвиг рождений направлен на повышение возраста женщины-матери: уровень рождаемости в 2016 г. в группе 35–39 лет стал почти в два раза выше рождаемости в группе 15–19 лет. Несмотря на малый вклад в суммарную рождаемость, который вносят женщины в возрасте 40–44 года, стоит обратить внимание на повышение рождаемости в этой группе.

При переходе от 2014 г. к 2016 г. радикально снизилась рождаемость в группе женщин 15–19 лет, некоторое снижение произошло и в группе 20–24 года, тогда как в последующих возрастных группах рождаемость немного повысилась. Это подтверждает возрастной сдвиг рождений. Следующий момент — это начавшееся с 2016 г. снижение рождаемости, которое можно объяснить как исчерпанием повышения рождаемости в 2000-е гг. — компенсации провала 1990-х гг., так и исчерпанием стимулирующего эффекта «материнского капитала», введенного в 2007–2008 гг.

Современные тренды рождаемости в европейских странах включают рост внебрачной рождаемости. В России этот тренд также имеет место:, но проявляется в сочетании с тенденцией возврата к патриархальной семье с официальным статусом брака. Рождения в незарегистрированных браках росли до 2010 г., а затем при некоторых колебаниях утвердилась тенденция повышения доли рождений

в официально зарегистрированных браках: если в 2000 г. доля рожденных вне зарегистрированного брака составляла почти 28%, то в 2016 г. — 21,1%. Рост брачных рождений положительно сказывается на рождаемости. Кроме того, этот показатель свидетельствует о некотором росте благосостояния: поскольку выплаты на ребенка, установленные региональными властями для матерей-одиночек, в два и более раза превышают, суммы, установленные для женщин, состоящих в зарегистрированном браке, то в годы резкого снижения уровня жизни выгоднее было не регистрировать брак.

Кроме рождаемости, т. е. интенсивности рождений каждой возрастной группой женщин фертильного возраста, важным фактором, определяющим численность родившихся, является количество женщин в фертильном возрасте. Как показывают расчеты академика А. Г. Аганбегяна, численность женщин в наиболее продуктивном фертильном возрасте 20–34 года будет постепенно сокращаться. (Аганбегян 2016: 54). Суммарное число женщин в этих возрастах в 2010 г. составляло 17517,6 тыс. человек, в каждой возрастной группе свыше миллиона человек. Группы, которые в будущем заместят этих женщин — это девочки, которым в 2010 г. было 3–14 лет. Численность каждой из таких возрастных групп не превышает 800 тыс. человек, значит суммарная численность будущей когорты, которая возьмет на себя основное бремя воспроизводства, не превысит 12 млн человек, т. е. к 2030 г. произойдет 70%-е замещение поколения основных групп фертильного возраста. К тому же суммарный коэффициент рождаемости вряд ли превысит 1,8 ребенка на одну женщину фертильного возраста, хотя данные выборочного обследования репродуктивных планов свидетельствуют о желании подавляющего числа брачных пар иметь двух (желательно разнополых) детей (Никитина, Захаров 2017). Статистика распределения рождений по очередности подтверждает происходящий переход от модели однодетной семьи, сформировавшейся в 1960-е – 1980-е, к двухдетной семье (табл. 2).

Благодаря проводимой демографической политике, включающей финансовую поддержку рождаемости, удалось переломить тенденцию доминирования однодетности: двухдетная семья потеснила однодетную и стала столь же и даже более распространенной, нежели однодетная семья. Повысилась и доля детей, родившихся третьими и четвертыми, но это повышение невелико и оно не сформирует тенденцию многодетности. Россия останется в группе малодетных стран. Одновременно с некоторым ростом суммарного коэффициента

рождаемости происходит рост доли бездетных брачных пар. В совокупности негативные и позитивные тенденции приводят к сокращению позитивного эффекта, не отменяя его.

Таблица 2

Распределение родившихся живыми по очередности рождения, в процентах

Год	Родившиеся по очередности рождения				
	первый	второй	третий	четвертый	пятый и следующие
1980	51,8	34,5	7,9	2,5	3,3
2000	58,7	29,9	7,7	2,2	1,5
2005	57,3	31,5	7,8	2,1	1,3
2009	52,1	34,5	9,5	2,5	1,4
2013	44,5	37,0	11,6	2,8	1,4
2015	40,4	39,9	12,8	3,3	1,6
2016	39,0	40,4	13,5	3,5	1,8

Источник: Захаров С. В. Рост числа рождений в России закончился? <https://polit.ru/article/2011/03/14/demoscope453/>; Суринов А. Е. Важнейшие социально-экономические показатели Российской Федерации в зеркале статистики. 30 сентября 2016 года. Презентация; Демографический ежегодник России.2017. — С. 18.

Сокращение численности женщин фертильного возраста и интенсивности рождений приведет к уменьшению численности родившихся.

Региональное разнообразие.

Общие для России тенденции возникают и укрепляются, скрывая в себе огромные различия между субъектами РФ. Вариацию субъектов России по значениям специального коэффициента рождаемости (число живорожденных на 1000 женщин 15–49 лет) отражают данные табл. 3. Основная часть субъектов (78 из 87) сосредоточилась в первых двух группах со значениями специального коэффициента рождаемости от 39 до 61 промилле. Но остальные регионы имеют существенный отрыв от этой части.

Таблица 3

**Распределение субъектов РФ по значению
специального коэффициента рождаемости, 2016**

Специальный коэффициент рождаемости, ‰	Число субъектов*
39–50	20
50–61	58
61–72	5
72–83	3
83–94	1
Итого	87

* С выделением АО.

Конечно, данные по девяти территориям не могут существенно повлиять на общероссийские показатели, тем более, как будет показано ниже, эти же регионы вносят негативный вклад в характеристики репродуктивного процесса.

Таблица 4

Мини-максные значения индикаторов, РФ 2016 г.

Показатель	Максимум	Минимум
Общий коэффициент рождаемости, ‰	23,2 (Тыва)	9,2 (Лен. обл.)
Внебрачная рождаемость, %	64,2 (Тыва)	10,5 (Кабард.-Балк.)
Материнская смертность на 100 000 живорождений	90,6 (Евр. АО)	3,5 (Волгоград. обл.)
Мертворождения на 1000 род. живыми и мертвыми	9,87 (Евр. АО)	3,32 (Респ. Адыгея)
Младенческая смертность на 1000 живорожд.	16,2 (Чукотск. АО)	2,5(Ненец. АО)
в т. ч. от внешних причин на 10 000 живорожд.	29,4 (Чукотск. АО)	1,1 (Моск. обл.)

Источник: Естественное движение населения Российской Федерации за 2016 год (Стат. бюллетень). — М.: Росстат, 2017.

Все значения показателей, свидетельствующие о неблагополучии в сфере рождаемости, принадлежат субъектам РФ относятся к регионам, расположенным в весьма отдаленных районах Азиатской части России. Как уже отмечалось нами, это неблагополучие скрывается в сфере этики и морали (Елисеева, Клупт 2016), на что указывает высокая миграция, коррелирующая с высокой распространенностью неполных семей и использованием абортот. Невнимание к внешним факторам привело к дополнительным потерям живорожденных младенцев, которое особенно проявилось в Чукотском АО.

Рожденные и нерожденные

Не все беременности заканчиваются живорождениями. Для любой территории и любого периода можно записать следующее равенство:

Число беременностей за год = Число живорождений + Число мертворождений + Число самопроизвольных абортов + Число медицинских абортов

В представленные компоненты не включена материнская смертность, во избежание повторного счета.

Анализируя вклад каждой из составляющих этого уравнения, можно получить оценку вероятности живорождения, а также других исходов беременности.

В официальной статистике не выделяются данные о самопроизвольных абортах, хотя вероятность такого исхода беременности вряд ли снижается, особенно в регионах с повышенным содержанием вредных выбросов в атмосферу.

Представленные компоненты свидетельствуют, что, если использовать имеющиеся данные для оценки т. н. «естественной рождаемости» (при сложившейся структуре населения, уровне брачности и использования средств контрацепции), то ее значение будет занижено, как отмечал В. А. Борисов (Борисов, 1976).

Приведенное равенство не может включать показатель младенческой смертности. Но в анализе рождаемости этот показатель должен присутствовать. В совокупности с числом мертворождений эту характеристику можно рассматривать как некий индикатор состояния здоровья женщин и качества медицинского обслуживания женщин в период беременности и родов, а также новорожденного в перинатальный период.

Абортное поведение

Аборты являются определенно самым большим «резервом» повышения числа рождений, хотя, по мнению В. Сакевич, аборты не влияют на рождаемость (Сакевич 2017, Сакевич 2010). Если признается роль абортов в регулировании числа рождений, то, соответственно, логично будет признать аборты в качестве одного из предикторов рождаемости. Возможно, что В. Сакевич сделала свой вывод на основе расчетов корреляции между абортами и показателями рождаемости в целом по России. Этот результат вводит в заблуждение: близкое к нулю значение коэффициента корреляции (0,092) не означает отсутствия связи, а является следствием уже указанной неоднородности регионов, когда высокие и низкие значения показателей вызывают сальдовый эффект, близкий к нулю.

Если же рассчитать коэффициенты корреляции между абортами и рождаемостью по регионам, в нашем случае, по федеральным округам, то результаты оказываются совсем другими (табл. 5).

Таблица 5

Коэффициенты корреляции между уровнем рождаемости женщин в возрасте 20–34 года и индикаторами абортного поведения в федеральных округах РФ, 2016 г.

Федеральный округ	Индикатор абортного поведения	
	Число абортов на 100 родов	Число абортов на 1000 женщин 15–49 лет
Центральный	0,40	0,56
Северо-Западный	0,09	0,73
Южный	–0,41	–0,09
Северо-Кавказский	–0,49	–0,13
Приволжский	0,27	0,58
Уральский	0,22	0,32
Сибирский	–0,21	0,62
Дальневосточный	–0,15	0,37
РФ в целом	0,092	0,37

Источник: рассчитано по: Демографический ежегодник России. 2017.

Показатели корреляции различаются в зависимости от использованной характеристики абортного поведения. Более «правильными» являются корреляции с числом абортов на 1000 женщин фертильного возраста, во всяком случае, они хорошо интерпретируются.

Россия достигла больших успехов в снижении использования абортов, но это не означает, что проблема решена. Среди многих групп женщин распространено представление о большем вреде для здоровья приема медикаментозных средств контрацепции, нежели аборта. На распространенность такого мнения указывает В. Бэрд (Бэрд, 2018: 81), Это свидетельствует о неразвитости культуры контрацепции в России, узком ассортименте доступных средств контрацепции и их низкой эффективности.

Факторы абортного поведения

- y — число абортов на 100 живорождений;
 x_1 — численность женщин на 1000 мужчин;
 x_2 — коэффициент устойчивости браков (число разводов на 1000 браков);
 x_3 — коэффициент миграционного оборота, %;
 x_4 — специальный коэффициент рождаемости, %;
 x_5 — доход на душу населения, руб.;
 x_6 — уровень безработицы, %.

Данные за 2016 год (85 субъектов).

Статистически незначимыми при построении модели множественной регрессии оказались следующие факторы:

- x_1 — численность женщин на 1000 мужчин;
 x_3 — коэффициент миграционного оборота, %;
 x_5 — доход на душу населения, руб.;
 x_6 — уровень безработицы, %.

Модель

$$y = -43,6 + 0,097x_2 + 0,564x_4,$$

$$R^2 = 0,407,$$

$$R = 0,638.$$

$$F\text{-крит.} = 28,2 (\alpha = 0,000\dots).$$

- y — число абортaв на 100 живорождений;
 x_2 — коэффициент устойчивости браков (число разводов на 1000 браков);
 x_4 — специальный коэффициент рождаемости, %.

Источники

Аганбегян А. Г. Демография и здравоохранение в России на рубеже веков. М.: Дело, 2016. — 192 с.

Аттaли Ж. Краткая история будущего / пер. с франц.— СПб.: Питер, 2014. — 288 с.

Борисов В. А. Перспективы рождаемости. — М.: Статистика, 1976. — 248 с.

Бурмыкина О. Н. Межпоколенные взаимодействия в семье: поддержка и социальные сети / Семья в России и Китае. Процесс модернизации. — СПб: Нестор-История, 2015. — С. 199.

Вишневский А. Г. (ред.). Демографическая модернизация России 1900–2000. — М.: Новое издательство, 2006.

Вишневский А. Г. Избранные демографические труды. В двух томах. — М.: Наука, 2005.

Вишневский А. Г. Россию ждет миграционный взрыв. Электронный ресурс: http://www.bbc.com/russian/society/2016/03/160321_demography_vishnevsky_interview.

Волков А. Г. О необходимости воздействия на рождаемость / А. Г. Волков. Избранные демографические труды / сост. и науч. ред. А. Г. Вишневский. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — С. 539–556.

Елисеева И. И. Семья и домохозяйство в современной России / Семья в России и Китае. Процесс модернизации. СПб.: Нестор-История, 2015 — С. 113–129.

Елисеева И. И. Эволюция структуры российских домохозяйств: попытка объяснения // Петербургская социология сегодня. Вып. 7. — СПб.: Нестор-История, 2016. С.216–242.

Елисеева И. И. Эволюция структуры российских домохозяйств: попытка объяснения / Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов. Вып. 7. — СПб.: Росток, 2016. — С. 216–242.

Елисеева И. И., Клулт М. А. Трансформация семьи в России и Китае: сравнительный анализ// Вопросы статистики.2016, № 8. — С.53–65.

Ерофеева Л. В. Политика в сфере продуктивного здоровья в России и международный опыт // Демографический журнал, 2017. № 2. С.22–29.

Журавлева Т. Л., Гаврилова Я. А. Анализ факторов рождаемости в России: что говорят данные РМЭЗ НИУ ВШЭ? // Экономический журнал ВШЭ, 2017. Т. 21, № 1. С.145–187.

Захаров С. В. Рождаемость в России: современное состояние и различная оптика измерений ее уровня // Демографический журнал. 2017. № 2. С. 8–14.

Захаров С. В., Иванова Е. И. Рождаемость и брачность в России // Социологические исследования. 1997. № 7. С. 70–80.

Клунт М. А. Трансформации и дискурсы китайской семьи / Новая значимость семьи для России и Китая. Глава 1. — СПб.: Реноме, 2018.

Клунт М. А. Демография регионов Земли. — СПб.: Питер, 2008. — 347 с. Кризис семьи и депопуляция в России («Круглый стол») // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 50–57.

Левада Ю. А. Поколения XX века: возможности исследования / Отцы и дети Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю.Левада, Т. Шанин. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — С. 39–60.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII—начало XX в.). СПб.: «ДмитрийБуланин», 1999. Т.2. С. 179–221.

Население России в XX веке: исторические очерки. В 3-х тт. Т.3. Кн.1. Отв. ред. В. Б. Жиромская, В. А. Исупов. 1960–1979 гг. М.: РОССПЭН. 2005.

Ортега-и-Гассет Х. Вокруг Галелея (схема кризисов) // [электронный ресурс]: http://krotov.info/library/15_o/rt/ega_06.htm.

Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 328 с.

Паевский В. В. К вопросу о рождаемости в Ленинграде (по материалам статистики абортот) // Паевский В. В. Вопросы демографической и медицинской статистики. — М.: Статистика, 1970. — С. 308–341.

Попов Е. В. Сети. Екатеринбург: АМБ, 2016.

Савченко А. В. Китайская семья в начале XXI в.: традиции и реалии // [электронный ресурс]: <http://cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-semya-v-nachale-xxivtraditsii-i-realii/>

Сакевич В. И. Тенденции и проблемы в сфере внутророссийского регулирования рождаемости в Российской Федерации // Демографический журнал. 2017. № 2. С. 14–20.

Сафонова М. А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 107–120.

Семья в России и Китае / под ред. И. И. Елисейевой и А. Сүй. СПб.: Нестор-История, 2015: 217–218.

Социально-демографический портрет России. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. — М.: ИИЦ Статистика России, 2012. — 183 с.

Сюй Аньци, Сюе Яли. Структура семьи / Семья в России и Китае. Процесс модернизации. — СПб.: Нестор-История, 2015. — С. 145–174.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ReprodHealth. 2005. Vol. 2. DOI: 10.1186/1742–4755–2-5

2013 Human Rights Report. China (includes Tibet, Hong Kong and Macau).

2017 Human Rights Report. China (includes Tibet, Hong Kong and Macau).

Bijwaard G. E., van Doeselaar S. The Impact of Divorce on Return Migration of Family Migrants // NORFACEMIGRATION Discussion paper. 2012. No. 2012-34.

Carolan B. V. Social Network Analysis and Education. Theory, Methods & Applications // Sage. 2014.

Department of Economic and Social Affairs: Abortion Policies: A Global review. New York: United Nations, 2001. P. 94–95.

Eisenstadt S. N. From Generation To Generation // Routledge. 29. 1998.

Hemminki E., Wu Z., Cao G., Viisainen K. Illegal births and legal abortions — the case of China.

Kane P. The second billion: population and family planning in China. Ringwood: Penguin Books, 1987. 264 p.

Luo L., Wu S. Z., Chen X. Q., Li M. X. First-trimester induced abortion: A study of Sichuan Province, China // Mundigo A. I., Indriso C. (ed.). Abortion in the developing world. London: Zed Books, 1999. P. 98–150.

Sanduleasa B., Matei A. Effects of Parental Migration on Families and Children in Post-Communist Romania // RSP. 2015. No. 46. P. 196–207.

Schmalzbauer L. Migration, Separation and Family Survival // NCFR catalyzing research, theory and practice. <http://www.ncfr.org/ncfrreport/focus/immigration-migration-separation-and-family-survival>.

Wu Z. C., Viisainen K., Wang Y., Hemminki E. Perinatal mortality in rural China: retrospective cohort study // British Medical Journal. 2003. V. 327. P. 1319–1322.

SUMMARIES

Galindabaeva V. V.

TRANSFORMATION OF THE OPEN ADOPTION PRACTICE IN THE CONTEXT OF RURAL-URBAN MIGRATION (CASE OF POST-SOVIET BURYATIYA)

The article deals with the transformation of the practice of open adoption in post-Soviet Buryatiya. The transfer of the child or the “exchange” of children within the extended family is considered by the author of the article as another form of childcare that allows to transfer the “burden” of care from one generation to another or to redistribute it in-between representatives of the same generation. This type of intergenerational care is rarely become the subject of research, since the open adoption of children of relatives is the norm in a limited number of societies. The study was conducted within the framework of qualitative methodology. The method of the leitmotif interview was used to collect empirical material (23 interviews); the method of thematic coding and the method of discourse analysis were used for the analysis of documents. The technique of analyzing the categorization of interaction was used in the analysis of interview transcripts. An analysis of the public discourse of the tradition of open adoption shows that this custom is positively interpreted. The custom of open adoption becomes in demand as a legitimate way to level out the lack of care in the family of a rural migrant. If earlier the need for adoption was legitimized by shamanistic faith in the life of ancestral spirits on the earth, today Buddhism justifies parents who give their children away for adoption with the concept of “buin”. The custom of open adoption is encouraged at the level of public discourse, but stigmatized in private area. A change in the attitude towards this custom in the private sphere shows that the extended mothering that was adopted in the families of the 19 th century and the beginning of the 20 th century, when women of one large family participated in the childcare, is replaced by the ideology of intensive mothering.

Key words: open adoption, intergenerational relationships, deficite of care, rural-urban migration, kinship, post-Soviet Buryatiya.

Eliseeva I. I.

BIRTH AND NOT BIRTH

The possibility of fertility growth in Russia in the medium term is analyzed in the context of reducing the number of women of fertile age. From this perspective, abortion is considered as a potential resource for increasing the number of births. The validity of this position is confirmed by historical data on the study of abortions in Russia. The results of a quantitative analysis of the prevalence of abortions in the subjects of the Russian Federation and their relationship with other factors, in particular, the instability of marriages, are given. The conclusion is made about the possibility of leveling abortion behavior of certain groups of women. As a condition for the development of targeted programs for the prevention of abortions, the availability of complete and reliable statistics of abortions is put forward, which is currently available in the database of health institutions, but is not provided to state statistical bodies and is not available to researchers.

Key words: live birth, stillbirth, reproductive behavior, infant mortality, marriage, statistics.

Geger A. E., Geger S. A.

FACTORS OF ECOACTIVISM

Two factors of Eco activism are considered in the article: 1) personal traits related to socio-demographic characteristics and 2) attitudes and values; also shows the spread of eco-activism both in Russia and in the world as a whole. The dependence between Eco activism and the level of education is revealed: among Eco activists there are more people with higher education. It was expected that the representatives of this group — as a whole are more financially secure than the rest of the survey participants. Among Eco activists, there are more than those who refer themselves to the middle class, upper middle class and even the upper class. The leaders in environmental activity were the Volga and Siberia, which occupy the lowest lines of Russia's environmental rating. In the course of the study, the hypothesis of "objective problems and subjective values" of R. Inglehart was confirmed: it was revealed that Eco activists are recruited, firstly, among residents of regions where there are objective environmental problems, and secondly, at the expense of the inhabitants of megacities that demonstrate a greater commitment to post-materialistic values.

Key words: Eco activism, values, materialistic values, post materialistic values, profile of environmental activists, objective problems, subjective values.

Kanygin G. V., Koretskaya V. S.

ANALYTICAL CODING

The article reports coding techniques widely applied in sociological researches with the help of the qualitative data analysis software as a specific method for instrumental concordance by sociologist of natural language evidences provided by informants. We argue that a shortcoming of these techniques is the instrumental weakness of the coding tool. We propose the methods of analytical coding that make the relationships widely used in contemporary programming (modularity, inheritance, visualization, compilation, etc.) practically accessible for sociologist during conceptualizing materials supplied by informants. Using the example of the conceptualization of the informant's textual evidence, we demonstrate how the proposed methods allow the sociologist to elaborate and integrate natural language statements based on textual evidence, compile coding results in the form of semantic network, visualize the entire process of operating informants' utterances.

Key words: Qualitative data analysis software, coding, relationships in programming, conceptualization of evidence in natural language.

Karbainov N. I.

IMAGES OF REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917–1920 IN POST-SOVIET TATARSTAN: ELITIST DISCOURSE AND MASS REPRESENTATIONS

The paper, firstly, analysis images of 1917 revolution history and events of Civil war of 1918–1920 that are produced by political and intellectual elites by post-Soviet Tatarstan. Secondly, we consider images of that period which are created in mass historical represen-

tations of the population of the Republic. Revolutionary events of 1917–1920 are produced in elite discourse with the reference to national history of Tatars on the regional level. That's why great attention is given to national democratic movement of Tatars while these events are described. The Whites in Civil war are estimated negatively because they were committed to the idea of “united and indivisible Russia” and didn't recognize the rights of Tatars of national self-determination. At the same time elite discourse is ambivalent about the Bolsheviks although they are estimated all-in-all negatively. Declaration of Tatar ASSR in 1920 is the main achievement of the revolution and the war. This declaration is represented as a partial reconstruction of the state sovereignty of Tatars that they lost in 1552. Revolutionary events of 1917–1920 are represented in mass historical discourse of Tatarstan dwellers as one of the main landmarks of the XXth century history along with the Great Patriotic War and dissolution of the USSR. In contrast to elite discourse mass historical representations do not connect revolutionary events of 1917–1920 with national history of Tatars and consider these events as ones of all-Russian scale and history. However these events are emotionally evaluated very differently. Federal Mass Media (and not textbooks and other academic and popular literature on history of Tatars) play an important role in creating of mass historical representations about revolutions of 1917 in Tatarstan.

Key words: Tatarstan; historical Views; Elite; Russian Revolution of 1917; The Civil War of 1918–1922.

Lourie S. V.

INTERETHNIC MARRIAGES IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN NATIONAL SCRIPT

The article is dedicated to the examination of interethnic marriage rates in contemporary Russia as a socio-cultural phenomenon. Its dynamics and characteristics, integrating as well as opposing the phenomenon of widespread interethnic marriages in USSR are studied and interpreted. The task of the article is to determine how nationally mixed marriages correlate with national script of contemporary Russia, do they fit in, and whether they are value approved and a phenomenon conditioned culturally. For this purpose, the statistics of interethnic marriage in Russia and its regions, survey data of public opinion and mythology existing around the phenomenon of contemporary interethnic marriage rates, expressed both in the media and clearly manifested in many scientific studies provoking distortion of the facts, are analyzed. On the basis of this, the social-culturological interpretation of the studied phenomenon is presented.

Key words: interethnic marriages, ethnic relations, socio-cultural script.

Odinokova V. A.

IMPACT OF PARENTS AND PEERS ON THE FREQUENCY OF ALCOHOL CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS

This article examines the impact of social environment factors on alcohol consumption by adolescents of 15–16 years. As a theoretical basis for the study we used the provisions of the general theory of crime (M. Gottfredson, T. Hirschi), social learning theory (R. L. Burgess,

R. L. Akers) and alcohol expectancy theory. We used binary logistic regression to estimate the impact of family and peer variables and alcohol expectancies on the frequency of alcohol use. Results suggested that weak parental control, peer alcohol abuse and positive alcohol expectancies had significant effects on the frequency of alcohol use. Practical recommendations for the prevention of alcohol use by adolescents, including work with parents, with adolescents themselves, and strengthening of control measures to comply with the legislation regarding the sale of alcohol to minors are offered.

Key words: alcohol, adolescents, parents, control, learning, alcohol expectancies, norms, prevention.

Stepanov A. M.

TRANSNATIONAL PRACTICES: ON THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT

Current migration studies are characterized by disciplinary and methodological fragmentation, by the lack of unified approach to the study of contemporary migration processes. The aim of this article is to offer one of the promising ways of building a conceptual framework for the study of contemporary migration that combines comparative transnational approach and sociology of everyday life. This makes possible to overcome disciplinary restrictions and to take into account the influence of similarities and differences in the political, economic, social, and cultural spheres on migration processes. It also makes possible to analyze informal practices and everyday interactions of transnational migrants, both in host society and in country of origin. The key concept of this approach is “transnational practices”. The article presents the author’s definition of transnational practices and discusses the rationale to address methodological apparatus of sociology of emotions in studying everyday life of transnational migrants, which is organized through the implementation of transnational practices.

Key words: transnational practices, transnationalism, migration, sociology of everyday life, migration process, migrant.

Tregubova N. D., Starikov V. S.

ANALYSIS OF TRANSNATIONAL MIGRANTS’ NETWORK PATHS TO IDEOLOGICAL RADICALIZATION: AN OVERVIEW OF CURRENT RESEARCH

The paper examines how the growth of digital technologies and online interactions transforms the research perspective on extremist activities of transnational migrants. The authors present an overview of current research on “digital transnationalism” and the ideological radicalization of transnational migrants in particular including studies of virtual / digital diasporas, transnational online communities, online extremism, etc. The paper argues that analysis network spaces where transnational migrants interact helps to reveal typical network paths of migrants that correspond to typical trajectories of migration. The authors notice that studying network paths of people involved in extremist practices is an important problem in contemporary Russia. In conclusion, they consider current situation and prospects of research on “transnationalism online” and “extremism online” in the social science.

Key words: transnationalism, migration, extremism, ideological radicalization, online space.

Tsvetaeva N. N.

FROM TRADITION TO INDIVIDUALIZATION: AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES ABOUT CHANGES IN FAMILY AND GENDER RELATIONS

The results of a number of studies indicate the non-linear nature of the global process of demographic modernization and problematize the ambiguity of this process in its various manifestations. The article presents the results of a qualitative research, which make it possible to supplement some of the characteristics of this problem. Changes in family and gender relations in the post-Soviet period are analysed on the basis of autobiographical narratives of women of two generations. The article discusses the following issues: the stability of traditional norms and values in family and gender relations, the contradictory combination of traditional norms and values with the egalitarian attitudes of Soviet emancipation, the contradictions between women's views about family and gender relations and the real practices of their family life. The author concludes that in the post-Soviet period, there are changes in women's views on family and gender relations, which are characterized by increased independence and pragmatic orientations in these relations. These changes the author considers as one of the defining trends of the global process of demographic modernization — individualization of private life the modern man.

Key words: qualitative research, autobiographical narratives, demographic modernization, family and gender relations, intergenerational differences.

Tukumtsev B. G., Bocharov V. Y.

LOW STANDARD OF LIVING AS A SOCIAL OBSTACLE ON THE WAY OF INDUSTRIAL MODERNIZATION

This article gives reasons for changing the state policy in the field of wages of industrial enterprises' employees. Decent wages in these enterprises are considered in the article as a precondition for the implementation of the process of industrial modernization and an important step in the formation of the new type of industrial workers. The practices of governmental control over the rate of wages are also analyzed. The article relies on the data of sociological research carried out by the authors in one of the Volga regions in the form of monitoring during 2002–2014, as well as on the regional statistics.

Key words: poverty, wages, minimal salary, inclusion in the enterprise's activities, modernization.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ABOUT THE AUTHORS

Бочаров Владислав Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, Самарский национальный исследовательский университет, г. Самара / ассоциированный научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Bocharov Vladislav Yu., PhD in Sociology, Associate Professor, Samara National Research University, Samara / Associate Fellow, Sociological Institute of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences.
vlad-bocharov@ya.ru

Галиндабаева Вера Валериевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Galindabaeva Vera V., PhD in Sociology, Senior Researcher, The Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences.
vgalindabaeva@gmail.com

Гегер Алексей Эдуардович, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Geger, Alexey E., PhD in Sociology, Senior Researcher of The Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.
ageger@gmail.com

Гегер Светлана Александровна, младший научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Geger Svetlana A., Junior researcher of The Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.
svetlana.geger@gmail.com

Елисеева Ирина Ильинична, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, засл. деят. науки РФ, главный научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук / заведующая кафедрой

статистики и эконометрики, Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Eliseeva Irina I., Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored. of Science of the Russian Federation, Chief Researcher, Sociological Institute of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences / Head of the Department of Statistics and Econometrics, St. Petersburg State University of Economics.

irinaeliseeva@mail.ru

Каныгин Геннадий Викторович, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Kanygin Gennady V., Doctor of sociological sciences, Lead Researcher, The Sociological Institute of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.

g.kanygin@gmail.com

Корецкая Виктория Станиславовна, младший научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Koretskaya Viktoria S., Junior Researcher, The Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences

interperfection@gmail.com

Карбаинов Николай Иванович, научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Karbainov Nikolay I., Researcher, The Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences

nkarbainov@gmail.com

Лурье Светлана Владимировна, доктор культурологии, ведущий научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Lourie Svetlana V. Doctor of cultural studies, Lead Researcher, The Sociological Institute of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.

svlourie@gmail.com

Одинокова Вероника Александровна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Odinokova Veronika A., PhD in Sociology, Senior Researcher, The Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences.

veronika.odinokova@gmail.com

Стариков Валентин Сергеевич, кандидат социологических наук, исследователь факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет.

Starikov Valentin S., PhD in Sociology, Researcher at the Department of Sociology, Saint Petersburg State University.

starikov.valentin@gmail.com.

Степанов Александр Михайлович, кандидат социологических наук, ассистент кафедры социального анализа и математических методов в социологии, Санкт-Петербургский государственный университет / исследователь, Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Stepanov Alexander M., PhD in Sociology, Assistant professor of the chair of social analysis and mathematical methods in sociology, St. Petersburg State University / Researcher, St. Petersburg State University of Economics.

9160001@inbox.ru

Трегубова Наталья Дамировна, кандидат социологических наук, ассистент кафедры сравнительной социологии, Санкт-Петербургский государственный университет.

Tregubova Natalia D. — PhD in Sociology, Assistant Professor of Comparative Sociology Chair, Saint Petersburg State University.

n.tregubova@spbu.ru

Тукумцев Будимир Гвидонович, кандидат философских наук, доцент, ассоциированный научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Tukumtsev Budimir G., PhD in Sociology, Associate Professor, Associate Fellow, Sociological Institute of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences.

budimirt@yandex.ru

Цветевава Нина Николаевна, научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Tsvetaeva Nina N., Researcher, The Sociological Institute of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences.

tsvetni12@mail.ru

Научное издание

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ

Выпуск 10

Технический редактор *А. Б. Левкина*

Дизайн обложки *О. Э. Рябикова*

Корректор *М. Л. Водолазова*

Оригинал-макет *Л. А. Харитонов*

Подписано в печать 18.12.2018. Формат 60×84^{1/16}.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 13,2. Тираж 300 экз.

Заказ № 311.

Отпечатано в типографии

издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.

Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: book@renomespb.ru

ВКонтакте: http://vk.com/renome_spb

www.renomespb.ru

Для заметок
